

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК

Сергей
Бородин

ЗВЕЗДЫ
НАД
САМАРКАНДОМ

Молниеносный Баязет
Белый конь

« А З Б У К А »



Русская литература. Большие книги

Сергей Бородин

**Звезды над Самаркандом.
Молниеносный
Баязет. Белый конь**

«Азбука»

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Бородин С. П.

Звезды над Самаркандом. Молниеносный Баязет. Белый конь /
С. П. Бородин — «Азбука», — (Русская литература. Большие
книги)

ISBN 978-5-389-32920-1

Амир Тимур намеревается присоединить к своим бескрайним владениям еще один сладкий кусок – Китай, где недавно почил император, грозный гонитель мусульман Тайцзун, а его наследник еще не укрепился на троне. Но повелителю мира не дает покоя растущее величие Османской империи. И султан Баязет Молниеносный не тот сосед, которого можно со спокойной душой оставить за спиной, поворачивая армии на Восток. Прежде чем будет покорен Китай, следует привести к повиновению Турцию. Мир прольет еще немало слез и крови по воле своего повелителя, но звезды в небе смеются над планами владык... Масштабная историческая сага Сергея Бородина о великом завоевателе, подчинившем своей железной дланью страны от Индостана до Средиземного моря, стала плодом не только глубокого изучения автором истории, быта и нравов эпохи, но также искренней любви к Востоку и его богатейшему культурному наследию. Стремясь к точному и объективному отображению эпохи Тимура, писатель прошел дорогами, по которым Железный Хромец вел свои войска. Он выезжал в Италию, Армению, Азербайджан, Грузию, Афганистан, Иран, Ирак, Сирию, Турцию, Северную Африку, Югославию, работал в книгохранилищах Египта, Турции, Туниса. Немало часов провел в знаменитой библиотеке Ватикана в Риме. Работа продолжалась больше двадцати лет, и результатом стал цикл романов, четвертый из которых писатель не успел завершить. Но «Звезды над Самаркандом» ярко засияли на литературном небосклоне, и еще ничто не затмило их по силе художественного отображения эпохи и верности историческим источникам. В настоящее издание вошел третий роман цикла: «Молниеносный Баязет» и главы неоконченного романа «Белый конь».

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-32920-1

© Бородин С. П.

© Азбука

Содержание

Молниеносный Баязет	9
Часть первая	9
Первая глава	9
Вторая глава	22
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Сергей Петрович Бородин
Звезды над Самаркандом.
Молниеносный Баязет. Белый конь
Романы

© С. П. Бородин (наследник), 2026

© Оформление.

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА



Звезды над Самаркандом



ХРОМОЙ ТИМУР
КОСТРЫ ПОХОДА
МОЛНИЕНОСНЫЙ БАЯЗЕТ
БЕЛЫЙ КОНЬ

Сергей Бородин

**ЗВЕЗДЫ
НАД САМАРКАНДОМ**



**МОЛНИЕНОСНЫЙ БАЯЗЕТ
БЕЛЫЙ КОНЬ**



Санкт-Петербург

Молниеносный Баязет

Книга 3

Часть первая

Отроги гор

Первая глава

Повелители

1

Шла весна 1401 года.

Весеннее утро, ясное и доброе, разгоралось в Бурсе.

Красный попугай, опустив синие крылья, чопорно охорашивался, поглядывая из медной позолоченной клетки, свисавшей на длинной цепи в арке дворцовых ворот.

Под сводами ворот расхаживали воины дворцового караула в красных безрукавках, расшитых белыми узорами, в синих складчатых широких шальварах.

По бедрам стражей колотились короткие ятаганы. Кривые кинжалы с желтыми костяными рукоятками, подвешенные спереди на широких полосатых поясах, то покачивались, то приподнимались в лад шагам.

Под сводами ворот, в полумгле, в прохладе, ладными и статными казались молодые стражи султана Баязета, отобранные среди сербиян, состоявших в его сорокатысячной сербской коннице.

А сам султан вышел во двор дворца, обстроенный серыми стенами, прогуляться под раскидистыми ветками деревьев, где из темноты листвы огненными пятнами выглядывали крупные цветы.

По краям мраморного водоема, мелкого, как блюдце, стройные растения поднимали стрельчатые листья и похожие на скрученные листки белые лилии. Золотые рыбы лениво играли в мелкой прозрачной воде, касаясь брюшками дна, сплошь затянутого бурым мхом.

Султан прогуливался, а со всех сторон из железных клеток, прикрывавших створки окон, могли следить за ним через переплеты кованых прутьев и, конечно, следили – справа, из приемных комнат, приближенные и слуги, слева, из жилых покоев, жены и рабыни. И они видели оттуда: султан прогуливается один, словно пленник, туда-сюда, в тесноте каменного двора, то над водоемом, то под деревьями, любясь, как утро разьясняется и все шире захватывает небольшой дворик своими лучами. Желтые остроносые тупли, смурывая по мраморным разноцветным плиткам, спугивали муравьев, суетливо рыскавших всюду в поисках крошек после вчерашнего пира.

Постукивала трость. Тонкий красный халат отставал от шагов, словно навстречу султану струился ветер. Чалма, накрученная высоким тюрбаном поверх острого колпака, поблескивала золотыми нитями, пронизавшими вперемежку с зелеными полосками всю ее легкую полупрозрачную ткань.

Стражи настороженно следили за каждым движением властителя. Но едва он повертылся к воротам, все замирали и опускали глаза, не смея смотреть в лицо султана.

Выпятив небольшое длинноватое лицо, полуприкрытое золотой бахромой чалмы там, где недоставало одного глаза, Баязет шел, постукивая тростью, поволакивая ногу, отчего левый туфель громче смургал по двору.

Отступив от обычая прогуливаться только под деревьями, Баязет вдруг свернул к высоким четырем ступеням и поднялся наверх, на угловой выступ стены, откуда открывалась внизу вся Бурса с ее дворцами, мечетями, базарами, покрытыми полосатыми паласами, ханами, со всеми этими крепкими строениями, заслонявшими своими куполами, арками и островерхими минаретами все, что недостойно султанских глаз, – улицы бедноты, хижины и лачуги.

Баязет смотрел, поворачивая лицо к югу, к востоку, где далеко, за горами, есть подвластные ему города, покорные народы, просторные земли для пастбищ, для садов, еще не посаженных, для пашен, еще не вспаханных, где будет много дел и забот, когда он наконец завоюет и подчинит себе все достойное вожделий султана. Там где-то Багдад, Дамаск, Сивас, откуда пришли странные вести о диких полчищах хромого разбойника, который будто бы уже захватил Арзинджан и уже косится хищным взглядом в сторону Баязетовых земель и на осиротевшие города покойного Баркука.

Видно, этим летом понадобится проучить захватчиков, покушающихся на то, что намерен закрепить за собой сам Баязет. Проучить захватчиков и на их плечах въехать в... этот, как его... Самарканд!

Купцы и почтенные жители близлежащих городов с испугу прислали своих людей со слухами о том же Тимуре, якобы своих головорезов он уже повел на османские города. Но вавилонский султан Фарадж у себя в Каире отмалчивается, – видно, вознамерился сам свернуть шею Тимуру, всю добычу, ни с кем не делаясь, прибрать себе. Багдад однажды так и достался этому Тимуру: военачальники не потрудились даже всех войск собрать, не изготовились к осадному сидению, на толщину стен понадеялись. И Тимур тогда забрал себе все ценности, хранившиеся в Багдаде. Столько награл, что не то барка, нагруженная золотом, не выдержала и потонула в Тигре, не то мост проломился под добычей. И поныне никто ничего достать со дна не смог. А достанься они Баязету, донныне те богатства были бы целы, украшали бы этот дворец. Ведь там, по слухам, хранились сокровища еще изначальных персидских царей, тысячелетние. А купцам... Чего им там опасаться, чего робеть? Охрана им дана отсюда, Баязетом, послана туда из-под самого Константинополя. Баязетовых воинов Тимур, не подумавши, не дерзнет коснуться – Баязет ему не какой-нибудь правитель Багдада, не вавилонский султан, у Баязета весь мир под ногой.

«Весь мир, весь мир», – усмехнулся одной щекой султан, переходя на правую сторону стены.

Теперь он смотрел, как глубоко внизу протянулись, переплетаясь, улицы. Вдали, словно ключья серого бархата, темнели сады. Каменщики возводили тонкий, как копье, минарет возле мечети, которую он перестраивал из греческой церкви. Слева, перед сводом базарных ворот, стояли верблюды новоприбывшего каравана. Какие-то всадники в полосатых бурнусах, не сходя с седел, переговаривались с торговцами. По ту сторону, за Дамаском, около Багдада, в таких полосатых бурнусах расхаживают халдеи, вавилонские христиане, вавилонские арабы, бывшие христианами уже в те времена, когда пророк Мухаммед еще не возгласил Корана. Оттуда, видно, и прибыл караван.

Вскоре Баязету наскучило разглядывать однообразную, изо дня в день неизменную утреннюю жизнь города, и, опуская со ступени на ступень правую ногу, которую он имел привычку приволакивать, но вполне крепкую, султан боком сошел во двор.

Начинать прием, погружаться в дела еще не хотелось. Он, смутив покой стражей, из-под деревьев пошел прямо к воротам и у самой арки остановился перед клеткой попугая. Остановился не без затаенной робости перед говорящей птицей, подозревая, что каждое ее слово таит вещей, магический смысл.

Попугай, почистившись, грыз семечки тыквы, и его клюв был облеплен шелухой. Попугай покачивался в позолоченной клетке. Этой зимой его подарили султану морские разбойники, веселые пираты, заплатив большую дань за право после ограбления генуэзских кораблей причаливать в укромных скалах на османском берегу. Даря, рассказывали, что прежде попугай этот плавал на торговом корабле, но заодно с незадачливыми испанскими мореходами достался в добычу, был отвезен в Магриб и провел лет десять на острове Джерба в старой крепости, стоявшей у самой воды. Пираты десять лет ждали выкупа за испанских пленных, и, сидя с хозяином в подвале, попугай десять лет твердил испанские слова. Оттуда, покидая Джербу, один из разбойников прихватил и своего попугая. И через все Средиземное море провез его до Бурсы в подношение султану.

Баязет, насупив лохматые брови над серым носом, смотрел на попугая, такого круглоглазого, с кривым клювом, отчего казалось, что он всегда удивлен и всегда смеется, пока тот наконец встряхнулся, прервал еду и, насмешливо вскинув голову, крикнул:

– Аррау! Аррау!..

«Хочет сказать „араб“! – догадался султан. – Что он этим вещает? Арабы кругом, я это сам знаю».

Покорно постояв еще перед покачивающейся клеткой, задумчиво постукивая палочкой, ушел во дворец: наступало время приема, и вот-вот ворота придется открыть.

Он поднимался по широкой лестнице на другую сторону дворца, шел галереей, откуда еще шире открывалась теснота города, и гадал: «Что изрекла вещая птица? Какое остережение, какой совет на грядущий день? Не пойму, какой араб?»

Вера в прорицания, магические числа и тайные знаки перемешалась в уме султана со многими приметами и поверьями, перенятыми в детстве от родичей, в юности от разноплеменных воинов, среди которых его растил отец – могущественный султан Мурад, потом от своей султанши – сербиянки, дочери сербского царя Лазаря.

Чем больше запоминалось разных примет, тем крепче, казалось ему, противостоит он прихотям судьбы и случая. Но сильнее всего этого в нем жила вера в Аллаха. Правда, жила она наравне с верой в благоприятное сочетание звезд, на всю жизнь предрекшее ему удачу во всех делах, походах и замыслах. Счастливое сочетание звезд исчислили ему астрологи в тот час, когда он впервые шевельнул свою колыбель, и по желанию могущественного султана Мурада написали это золотом на пергаменте. Эти многие веры и поверья могли толковаться как знаки предостережения или ободрения, исходящие от самого Аллаха, как полагал султан.

Случалось, он кидался в битву, не дождавшись, пока войско надежно устроится, твердо веря, что победа давно предreshена благоприятными знаменами. И победы всегда доставались ему.

Он никак не мог заглушить беспокойства, смутной тревоги, раздумывая над криком попугая об арабах, которые всегда жили вокруг, занимаясь какими-то своими делами.

«В чем остерегает нас вещая птица?»

А стражи, рослые, беспечные сербияне, землю которых подчинил себе еще отец Баязета, досмотрев, пока султан вошел во дворец, и повеселев, что он ушел, обступили клетку, совали сквозь прутья пальцы, тыкали в клюв попугая и смеялись. А попугай взмахивал хохолком, откидываясь от них, и вскрикивал:

– Арр... Арр...

2

Весеннее утро, расстелив и развесив черные шали теней по всему Мадриду, ударило в стены и окна королевского дворца.

Через узкие окна в сумрак дворцовой залы вонзились пять лучей, как пять стальных мечей, рассекая на части всю эту большую безмолвную залу.

Ногой, туго обтянутой черным шелком, упершись в ступеньку трона, дон Энрико, король Кастилии, стоял, полуобернувшись к своему послу.

К скрученным свиткам посланий были подвешены большие королевские печати, свитки вложены в синие бархатные чехлы, расшитые серебряной ниткой, и посла удостоили чести, призвав во дворец, принять свитки и откланяться королевской особе перед дальней дорогой.

Далеко позади посла в черных камзолах, перекинув через руку черные плащи, замерев, стояла его свита, будущие его спутники. И теперь, в присутствии короля, старый, охрипший от спеси королевский секретарь, покачивая на ладонях оба свитка, словно взвешивая их, изустно излагал последние напутствия и наставления, будто читал неразборчивый манускрипт, как, блюдя достоинство, славя величие и могущество королевского кастильского дома, выведать и выманить у османского султана Баязета все выгоды, какие станет возможным извлечь из этой дикой, разбойничьей, пиратской, языческой, богомерзкой земли для украшения христианнейшей кастильской короны.

Дону Энрико исполнилось двадцать два года, но его королевский возраст исчислялся не со дня рождения, а со дня воцарения того предка, от коего вел свой род и наследовал корону сей сын и внук королей Кастилии и Леона из династии Трастамара.

С любопытством и не без тайной зависти слушал молодой король напутственную речь секретаря, ибо послу суждено увидеть лазоревые волны морей, диковинные страны и города, неведомые народы и самого султана Баязета, владевшего неисчислимыми сокровищами, награбленными в битвах с христианами в покоренных благочестивых государствах. Опасный султан, не побоявшийся греха распотрошить крестоносное воинство самого папы римского! А у короля Кастилии на всю жизнь одна дорога – от стены до стены внутри своего хмурого, величественного обиталища.

Королю еще не посчастливилось ни одержать знатных побед, ни приобрести какую-либо добычу. От отца-короля, и от деда-короля, и от иных венценосных предков в сундуках не береглось ничего, что можно было бы поименовать сокровищем, хотя почернелый дуб сундуков был окован тяжелыми скобами, хотя замки на сундуках были тяжелы. Ежевечерне трое высокопоставленных вельмож, предшествуемые полыхающими факелами, сопровождаемые вооруженным конвоем, спускались в подвал и дергали каждый замок на каждом из многочисленных сундуков, в которых давно покоились лишь паутина, тьма да какие-то тленные лоскутья, в коих когда-то что-то было завернуто. Вечерний дозор, поднявшись из подвала, затворял за собой кованую дверь, и трое вельмож, галантно содействуя друг другу, навешивали на засов грузный толедский замок, изображавший льва, где дужкой служил львиный хвост, а ключ, украшенный поверх стали позолоченной короной, несли в королевские покои, где сам коронный казначей с поклоном вешал его на бронзовый крюк над кроватью у королевского изголовья, а возле кованой двери на всю ночь ставили караул. Всю ночь напролет караульные перекликались и, гремя оружием, шагали из конца в конец по мглистому душному коридору, от факела до факела, чадивших по одному в каждом конце коридора, настораживаясь, когда проходили мимо двери, низенькой, кованой, поблескивающей вычеканенным из желтой меди гербом, хранившей сокровищницу кастильских королей.

Посол, склонив смуглое мускулистое лицо с приплюснутым носом, слушал, исподтишка разглядывая короля, золотые кружева поверх белого бархата. На тонком золотом поясе длинный узкий кинжал в черных ножнах. Черная челка подрезана чуть выше бровей. Пристальный, нетерпеливый, как у застоявшейся лошади, круглый глаз. Длинная худая кисть руки с тонкими кривыми пальцами то сжимает, то распускает обшитый золотым кружевом розоватый платок.

Как тупое гусиное перо по дешевому пергаменту, скрипел голос секретаря:

– Надлежит внушить, что могущественнейший, милостивейший наш король проявит свое благоволение султану, буде сей Баязет издаст указ о достойной плате за наши товары и повсюду откроет проезды нашим купцам.

Надлежит добиться, чтобы золото за наши товары сей султан уплатил теперь же, не дожидаясь, поелику наши товары впоследствии по соизволению всемилостивейшего нашего короля будут посланы.

Надлежит получить плату золотом, в слитках ли, в чекане ли, но без примеси.

Надлежит предложить султану воинскую помощь в его дерзких, но успешных завоеваниях... Мы можем послать ему из нашего войска... – Королевский секретарь, повернувшись к дону Энрико, как бы оценивая все значение этой помощи, торжественно возвысив голос, огласил великодушную щедрость короля: – Пятьсот человек!

Король кивком благосклонно подтвердил это число, и старик по-прежнему скрипуче, но самодовольно пояснил:

– Но прежде султану надлежит обязаться обеспечить при дележе добычи равную долю нашему королю...

Эти наставления посол уже знал наизусть. Ему повторяли их в различных высоких палатах, чтобы наконец в последний раз напомнить при короле.

Когда все было сказано и дон Энрико, кивнув, закончил прием, посол, опустившись на одно колено, склонил голову на прощание, а дон Энрико, снисходя к немыслимо далекой и опасной дороге, простирающейся перед его подданным, позволил ему поцеловать руку. По губам посла скользнул королевский платочек, пахнувший мятой.

Посол, пятясь, отступил от трона.

В конце залы его ждали будущие спутники, также удостоенные милости откланяться своему королю Генриху Третьему Кастильскому. Они все поклонились.

И, кланяясь, отступили на шаг.

Коснувшись пола широкополыми шляпами и при сем опустив глаза в покорнейшем поклоне, снова отступили на шаг.

Отступив еще на шаг, они снова касались пола этими твердыми черными широкополыми шляпами и опускали глаза в покорнейшем поклоне, пока не отошли наконец за порог залы, где облегченно выпрямились, надевая шляпы, и, мизинцами с нарочитой небрежностью встряхнув кружева на воротниках, последовали к выходу на любезном расстоянии позади посла.

Ушел, высоко вскинув горбоносую голову, королевский секретарь, неуверенно ступая усталыми ногами и при каждом шаге взмахивая рукой, будто не по зале шел, а спрыгивал по лестнице.

Только король остался, не шевелясь, один.

Он смотрел в окно, где зеленоватое небо слегка заслоняли, грустно покачиваясь, вершины больших деревьев.

3

Весеннее утро взглянуло прозрачной синевой из-под белой пушистой шали на заснеженную Москву.

В трапезной палате великого князя Московского погасили свечу на столе, с которого слуги убрали остатки заутренней трапезы.

Василий Дмитриевич приостановился на лесенке, услышав во дворе неуверенный скрип ворот, многоголосый говор и хруст полозьев по наледи. Кто-то въезжал на великокняжеский двор. Но сквозь заледенелое окно двор не был виден.

Василий сошел на несколько ступенек ниже и по мохнатому домодельному ковру неслышно прошел в сени, откуда и глянул через стекольчатое оконце во двор.

Весь двор, оказалось, заполнен людьми. Слуги еще держали факелы, уже неуместные среди белого, светлого утра. Вдоль стен стеснились Васильевы стражи, а среди двора остановились приземистые крутые возки, и вокруг возков, спешившись, топтались ордынцы в лохматых малахаях. Трое московских бояр в длинных шубах и стоячих шапках высились возле крыльца, а из возка, барахтаясь в просторных тулупах, вылезали двое юношков. От другого возка к хоромам уже шла низкорослая женщина, шла вразвалочку, выпятив живот и раскачивая курносое, непомерно щекастое лицо.

– Чтой-то за валенок шествует? – спросил Василий у появившегося Тютчева.

– Из сокровищницы Тохтамыш-хана государыня, по имени Башня Услад.

– Кхе!.. – хмыкнул Василий.

– Москве на сбереженье прислал Тохтамыш-хан двоих малолетних царенышей и сию младшую из жен, самую любезную ханскому сердцу.

Тут же, опавнув всех морозной свежестью, ввалился гостейный пристав Шеремет, прискакавший впереди ордынского обоза, коему выезжал навстречу к заставе.

Он, поклонившись Василию, поклонился Тютчеву:

– Вот, встрел. Привез. В полном здравии.

– Благодарствуем! – ответил Тютчев.

– Царица, батюшка, брюхата, а поворотлива. И разговорчива вельми. Любопытствовала по дороге, по многу ль наши бояре жен заводят. А как заверил я, по одной, мол, очень она наших жен пожалела: «Что за жизнь им, когда они живут по одной!»

Тютчев покосился на великого князя и насупился было: неуместно попусту язык распускать в сенях у великого князя, да еще при самом при нем.

Но Василий был добр к мужским беседам.

– Пожалела?

– Жен наших, что по одной живут! – удивленно и словоохотливо повторил Шеремет, возбужденный ездой, необычными гостями и тронутый простотой великого князя.

– От жадности они, что ль, по стольку-то жен набирают?.. – поддержал беседу Василий.

– А я понимаю, от слабости. Как, бывало, жил в Орде, нагляделся: не крепкие мужики. Право, нет, не крепкие. Оттого у них и жен помногу – на одну сил надо больше, одну от избытка сил любишь. А когда их не одна, к ним можно и с малой силой пройти: они новизной влекут, переменной тревожат. А когда в тебе сила полна, ее попусту тревожить незачем, она сама тебя туда погонит. Я так примечаю: коль слаб мужик, тогда ему новинка нужна, чтоб тревожила.

– Эх, Шеремет, Шеремет!.. – вздохнул Василий и пошел назад в терема, распорядясь Тютчеву: – Приглянь, как их разместить. В монастырь бы их на постой, да нехристи. Видно, уж тут приветим.

– Челяди с ними много.

– А челядь на гостиный двор спровадь.

Ободренный благорасположением Василия Дмитриевича, Шеремет не отставал и сказал Тютчеву:

– Как ехали, царица поговаривала: будь, мол, хан этот Тимур не столь далеко, Тохтамыш искал бы его помощи против Едигея, а как ныне Тимур в далеком походе, Тохтамышу не на кого, кроме Москвы, опереться; кроме негде любви искать.

Василий ответил за Тютчева:

– Да уж... наша любовь накрепко при нем.

Тютчев улыбнулся, но Шеремет от души поддержал:

– Воистину, государь, воистину!

Тютчев, стесняясь, что Василий не отсылает Шеремета прочь, сам решился:

– Глянь, Афанасий, как их устраивают. Гости ведь. Не обидели б чем невзначай.

Едва Шеремет отстал, Василий спросил Тютчева:

– Что там у них, в Орде, нынче?

– В Тохтамышевом обозе и мои люди прибыли, да ведь не успел расспросить: не мог сразу отозвать их от обоза.

– Тимур этот нынче в походе. Далеко пошел. Надо б позорчей взглядеться, каковы там дела, ведь они с тылу у Орды, от них Орда либо крепче, либо слабже.

– Там мои люди сидят, шлют вести при случаях.

– Каковы люди-то?

– Люди ремесленные, торговые. Есть и в Гургене, и в Букаре, и в самом ихнем Сумарканте. А передают через Гурген: там наши торгуют.

– О войне, о походе, обо всяком этаком вестей у нас довольно. А вот чему они учены, в чем ихняя душа, этого не ведаем. Чего ради народ воинствует?

– Ради чего? Хан небось за-ради добыч, а народ за-ради послушания.

– Не то, не про то говоришь. Народ виден, когда созидает, а не когда рушит. В чем их созидание?

– Таких вестей нам не шлют.

– Про то и говорю. Надо заслать туда людей, чтоб уразумели разум того народа.

– Таких людей походя не изыщешь.

– Изыщи. И чтоб языку ихнему был знаком. И чтоб знанием и разумением был крепок, дабы, взглядевшись, изъяснил бы нам суть знаний их, каков их разум и помыслы. Ась?

– Меж купцов таких не видать. Язык разумеют, да книг не чтут; другие книгочеи есть, да чужих языков не ведают.

– А ищи не промеж купцов, не по сермягам. Прикинь по боярским хоромам, по монастырским кельям.

– По монастырям? – вдруг встрепенулся Тютчев. – Надо помыслить!

– Сыщи, Тютчев. Да вскоре! Да и не одного. Стезя там негладкая. Один споткнется, другой пройдет, третий дале того достигнет. Велика будет честь, кому это дело дастся. Ищи. А к ханше надежных служанок приставь, порасслухают обо всех ихних суетах, оказиях, думах. Ханша у Тохтамышя в любви, он ей небось высказывал тайные думы. Сама тож нагладелась на все нынешние Тохтамышевы затеи, да и на Едигеевы доблести. Бабы, как разговорятся, сами не смыслят, что несут: бывает, мусор накидают, да вперемежку с жемчугом. Сумей разберись. А Тохтамышевым выюношкам наставников отбери с разумом, чтоб выюноши внимали им, а потом и выюноши наставникам свое скажут. То же и промежду ордынцев, как на гостинном дворе заскучают, много всего скажется. Но Орда нам давно вся насквозь видна. А ты порассуди поскорее об смышленных людях, да и отважных, чтоб в Тимурову даль заслать.

Тютчев пошел через сени к крыльцу, а Василий – в Малую палату, где слушал бояр и рядил суд, когда тяжелыми, но поспешными шагами, возбужденный, его нагнал вернувшийся Тютчев.

– Государь! Дозволь в ту Тимурову глухомань заслать верного человека.

– Нашел?

– От сердца своего, для-ради отечества, на поклон Москве.

– Ась!

– Самого мне кровного, как себя самого. Как на подвиг.

– То и есть подвиг. Не в том честь, чтобы сгоряча против вражьего копья грудь выставить. Крепче есть подвиг, что исподволь, в молчании, изо дня в день супротив копий, промежду мечей, как на Голгофу, восходит. Великий подвиг! Может, неведом никому останется, но без тех незримых не бывает зримого подвига. Бывает, слава одному достанется, но честь – им всем поровну, и тем, что победу трубят, и тем, что молча ее готовили.

Василий замолчал и шел, ожидая, чтоб Тютчев сказал сам.

– Знаю, государь, истинно как на Голгофу. Меньшого брата. Он на послухе в Троице. Язык понимает. Грамоте учен. В иконописании сведущ. Духом тверд. Млад годами, но духом тверд.

– Брата? Этак ты и сам будешь причастен подвигу.

– Не ради чести. Ради Москвы, государь.

– Теперь, Тютчев, дай мне поразмыслить. Приму ли твой вклад? Отца твоего память чтя, вправе ли буду этаким вклад взять?

– Государь! Отцова честь отцу останется. Он Москве служил своею силой. А куда ж нам свою силу дать, как не тому ж делу! Не честь отцовой честью покрываться, честь себе каждый сам добывает, за свою силу, за свои дела, а не за отцовскую, не за братнюю честь.

– Горячишься! Я поразмыслю, вправе ли буду...

Молча вошел он, сопутствуемый Тютчевым, в палату. Ожидавшие на скамьях бояре поднялись.

Тут, чтобы больше не томить Тютчева, негромко ответил ему:

– Так решим: закажи в Чудовом монастыре нонче после вечерни панихиду по отцу твоему. Я сам приду, помолюсь с тобой об упокоении раба Божьего Захарии. Авось он внемлет нам. А завтра после обедни отслужи молебен о здравии брата твоего, да и съезди за ним в Троицу. Ась? Как имя-то брату?

– Елизарий.

– Эна какое!..

И вдруг все дрогнули: палата раскололась от грохота и звона.

Все глянули на небольшое полукруглое окно, где на мелкие осколки разлетелось толстое венецианское стекло от удара подтаявшей и сорвавшейся огромной сосульки.

– Вишь, пригревает солнышко! – облегченно усмехнулся Василий.

А в палату через пробоину вкатывались волны свежего, влажного, пропахшего проталинами ветра.

4

Весеннее утро в степи за Новым Сараем затеплилось после ночного дождя в сыром тумане. Пасмурное утро.

С дощатых крыш татарского караван-сарая капельками скатывались остатки дождя. Под мокрой соломой, застилавшей двор, еще похрустывала мерзлая земля. Под невысоким широким навесом разные лошади, заседланные и расседланные, грызли набросанное к их мордам сено, помахивали хвостами, хотя до оводов было еще далеко. Били землю копытами, чтобы разбудить застоявшиеся ноги, и снова привередливо наклонялись к селу.

Из копны, накиданной в самый угол, протянулись обутые в желтые сапоги ноги лежавшего под сеном человека, когда во двор въехало пятеро ордынских воинов в бараньих трухах на головах, опоясанных широкими ремнями поверх бурых чекменей, с кривыми саблями, высоко пристегнутыми к поясам.

Солома заглушила топот лошадей, и въезд их был едва слышен, но две ноги в сапогах тихо втянулись под сено.

Четверо, придерживая колчаны, закинутые за спины, вошли в приземистую избу, а пятый, тоже спешившись, охаживал запыхавшихся лошадей, маленькой ладонью поглаживая и похлестывая их. Видно, прискакали издали и торопились – лошади дышали устало и горячо, пар дыхания вылетал облачками в холодный воздух.

Через незакрытую дверь слышны были крикливые голоса, и человек под сеном уловил свое имя.

Копна мгновенно отвалилась в сторону, длинный стремительный человек вскочил, не стравивая сеной трухи, облепившей его, подскочил к небольшому мышастому коню, мгновенно взнуздан, сдернув с крюка цепочку, вскочил в седло и напрямик между прибывшими лошадьми проскакал к воротам. Возле того воина, что толкся с лошадьми у распахнутых ворот.

Воин крикнул испуганно и удивленно:

– Эй! А шапку-то позабыл!

Но, ожегши его плеткой по скуле, всадник с бритой головой, помахивая по ветру тугой, как кошачий хвост, монгольской косой на макушке, уже перемахивая на просторе через канавки, подтаявшие сугробы и лужи, мчался по обнажившемуся полю к недалекому лесу.

Воин, прижав ладонь к скуле, кричал, оборотясь к избе:

– Эй! Не иначе как Тохтамыш-хан. Эна! Эна скачет!..

А Тохтамыш скачет, длинный, на маленькой лошадке с обвязанными тряпицами задними ногами: видно, лошадка засекает, когда скачет. Но, зная, хороша, если, еще когда владел большими табунами, выбрал эту, засечную.

Ему кажется, что он летит, наклонившись вперед, но, как знак погони, его с девичьим стоном обогнала стрела и, вонзившись в кочку, качается.

Погоня. Но лес уже близок. Еще одна стрела вонзилась в березу, едва он ворвался в лес, проскакивая между стволами.

Он скачет между деревьями, продирается сквозь кусты. Погоня на усталых конях замешкалась.

То пригибаясь под ветками, то почти прижимаясь к шее коня, когда ветки низки, он поглядывает по сторонам, но торопится забраться в чащу поглубже, где порозовевшие кустарники закрывают его.

Чуть подальше есть вправо лесная дорога. Она приметна и выйдет к селенью. Зная ее, он сворачивает влево, где непролазна чащоба, где нагромоздился, ощерившись, бурелом. Конь послушно обходит пни и валежник, кое-где перемахивает через скользкие стволы. Дальше проезда нет.

Тохтамыш спешивается, берет коня под уздцы, и они идут рядом через тесные пролазы между деревьями, пока наконец не добираются до ручейка.

Талая вода струится поверх льда.

Напились оба.

Поднялся в седло. Поехал по ручью: здесь и ветки выше, и не надо перебираться через валежник. Лишь изредка путь преграждали стволы деревьев, упавших поперек ручья.

Остановился, прислушался к гулкой тишине леса. Как и надеялся, погоня ушла вправо по дороге к селенью: не догадались, что хан мог свернуть в непролазную глушь, в овраги, куда и летом боязно заходить.

Перехитрил: любой менее осторожный беглец поскакал бы так, приманчивой дорогой.

Он потрепал лошадь по шее и мигом въехал на некрутое взгорье, откуда выехал на небольшую поляну.

На краю поляны в светлом березняке вросшая в землю приземистая изба молчала.

Тохтамыш спешился, стреножил коня и пустил попасть по молодой первой поросли. Сам неслышно, как лесной охотник, ступая по сырой земле, подошел к двери.

Одинокий старик в длинной, по щиколотку, рубахе отворил дверь.

Он издавна знал этого старика, но не видел его давно, со времен, когда был могущественным ханом. Тогда они с сыном старика заезжали сюда отдохнуть с охоты.

Старик поклонился, обрадовавшись было, но, видя, что Тохтамыш один, побледнел.

– Сына ждешь?

– Давно вестей нету, высокий хан.

– Батыр! Воин. Бесстрашен. Дерзок. Ко врагу немилостив.

Слыша, как скупой на похвалу хан столь хвалит его сына, старик понял, что сына нет: живых этот хан никогда не хвалил, славил только павших.

Отступив вглубь избы, старик впустил Тохтамыша, показал место, где сесть, и вскоре постелил перед ним покрытую заплатками скатерть.

Спустившись в погреб, старик откопал глиняный кувшин с вином и принес хану.

– Сына ждал. Приготовил и берег. Хотел поставить к его приезду.

Тохтамыш не сказал, что сын еще придет.

Выпив чашку этого черного вина, настоящего на меду и лесных травах, Тохтамыш быстро захмелел: вино ли так созрело, сам ли устал с дороги, ничего не евши со вчерашнего дня.

Старик молча разглядывал хана, неустанного завоевателя, утравившего окрестные страны, а хан сидел, отвалившись к стене.

Круглый лоб. Маленький нос с горбинкой. Рыжие глаза, широко раздвинутые к вискам. Синие губы круглого рта, под усами влажного от вина. Круглые плечи, покрытые простым чекменем.

Тохтамыш сказал:

– Он смел. Твой сын был упрям. Нет, я бы его не тронул, не будь он упрям.

Тохтамыш не хотел сказать, как казнил этого сына, сгоряча рассердившись, что тот отказался убить пленника и возражал хану: «А я говорю, он невиновен!» Бубнил одно и то же, словно он сам хан.

Об этом Тохтамыш не сказал. И, выпив еще чашку вина, которую сам себе налил, хан захотел поговорить о недавней своей силе. Растягивая слова и слегка гундося, он будто причитал:

– Когда я ходил на Мавераннахр, на Тимура, и за горы Эльбруса, и по стране Араратской, и по отрогам Арарата, – куда бы ни пришел, везде хозяин я. Я! Со мной там никто не мог сладить!

– Чего же нынче один бегаешь?

– Едигей изловчился. Сел на мой стол. Нынче мне надо утаиться. Выждать. В Сарае меня опознали. Едва ушел. А этот однорукий Тимур сам хромой, а ладит со мной управиться!

– Да ведь и управился уж!

– Молчи. Воинство мое поразбежалось, поупряталось по укромным местам. А несколько тысяч конницы я отдал в Литву королю Витовту. Они там спокойны. Как я велел, так и сделано. А они припрягались и ждут моего слова. И я им скажу. Теперь скажу. Мы еще отвоюем назад все, что у нас отняли: и Эльбрус, и Арарат, и Москву. Что у меня отняли, верну!

Старик принес ему печеную утку.

– Поешь. С пролета стрелой сбил.

Тохтамыш, по-волчьи хрустя костями, принялся за еду.

Старик смотрел, разглядывал его.

Тохтамыш, отложив обглоданные кости, еще налил себе вина. Заговорил спокойнее, словно отрезвел:

– Созову всех своих. И семьи их. И уйдем.

– Далеко ли, хан? На Арарат, что ли?

– К своей коннице. На Литву. А чего ты мне твердишь: Арарат, Арарат! На кой он мне?

– Ведь был же нужен, когда с моим сыном туда ходил.

– Я там все перевернул. Всю их жизнь пустил по-иному.

– А они тому радовались?

– А что они, понимают, что ли, как надо жить!

– И нынче там живут по-твоему али по-своему?

– Может, и по-своему, да я им о себе напомню. Может, меня забыли, а я напомню!

– Из Литвы-то?

– Надо терпеть и уметь ждать. Ждать надо умело!

Старик опять посидел молча, глядя, как жадными глотками хан пьет вино. Потом встал и принес глубокую шапку.

– Барсучья. Вот она. Сшил сыну. Думал надеть на него на свадьбе. А он женился, отцу не сказавшись. Носи ее, хан, сам. Возьми. Надень. Неловко вилять косой по ветру.

Тохтамыш нахлобучил мягкую шапку.

Старик сказал:

– Думал, посижу на той свадьбе на отцовом месте. А жену сын выберет себе писаную красавицу. Ведь он был воин, батыр...

Старик отвернулся к очагу, чтобы хан не заметил, как старое лицо сморщилось и горло перехватило от слез.

Тохтамыш, придвинув остатки от утки, вразумлял старика:

– Самая писаная красавица не даст мужу больше, чем простая девка: это богатство ихнее одинаково у всех.

Тохтамыш здесь переночевал и, чуть рассвело, уехал тем же глухим лесом к месту, где знал верного человека.

С этого дня Тохтамыш начал сборы своей орды, всех верных людей с их семьями, задумав увести их в Литву, к королю Витовту, обещавшему Тохтамышевой коннице достойное место в своем войске, ослабевшем после битв на Ворскле, а семьям дать землю и не угнетать их веру.

Родная сторона отторгла своего повелителя, неусыпного завоевателя чужих земель.

5

Весеннее утро над Самаркандом светило сквозь призрачное марево. Во все предшествующие дни погода часто менялась – то лили холодные ливни, то распоживалось и ветром вскоре обсушивало серую глину стен, они снова становились голубоватыми, словно к глине жилищ примешана синь самаркандского неба. Легкое переливающееся марево теплого воздуха курилось и мерцало над обширным городом, и утро не казалось таким ясным, ярким, каким хотел бы увидеть его напоследок собравшийся в путь правитель Самарканда Мухаммед-Султан. Он велел царевичу Мирзе Искандеру, содержащемуся в Синем дворце, явиться в дом правителя.

Спор между царевичами не решился, решить его мог лишь сам Тимур.

Но, вызвав царевича, Мухаммед-Султан тяготился этой неизбежной встречей с двоюродным братом: правитель отвык, чтобы кто-либо понуждал его говорить, а паче того отвечать, если самому не хотелось.

Мирза Искандер уже много долгих месяцев обитал в Синем дворце под присмотром недоброжелательных слуг правителя, в тесной и уединенной келье, в тишине и безделье. С тех пор, когда, казнив его соучастников и потатчиков, Мухаммед-Султан отобрал у Мирзы Искандера Фергану, а строгому деду послал подробный донос о всех проделках, происках и провинностях ферганского царевича, ему позволялось навещать лишь своих жен, обособленно размещенных в том же Синем дворце среди присланных непослушных им служанок. Мирза Искандер жил во все это томительное время не под одним лишь присмотром, но и при многих обидах и лишениях, стеснявших его исконные привычки и потребности, ибо, наследник Омар-Шейха, балованный внук Тимура Гурагана, он считал себя не узником, а званым гостем у такого же, как и он, царевича, у такого же, как и он, внука, хотя и поставленного в правители Самарканда, но ничем не отличного среди прочих внуков Тимура.

Мирза Искандер часто досаждал Мухаммед-Султану, испрашивая себе то серебряника, чтобы выковал новые уздечки на случай каких-то будущих прогулок или выездов, то отпуск в загородные сады, хотя там по зимнему времени ничего не было, кроме вяленого винограда под потолком, грубых дынь в подвалах да озябших газелей в загонах. То требовал к себе певца, чтобы послушать макамы, то историка Муин-аддина Натанзи из прежних своих ферганских собеседников, чтобы прослушать ученое сочинение, которое тот писал. Во многих просьбах Мухаммед-Султан отказывал: не дал серебра на уздечки и не отпустил в загородные сады, но допустил и певца, и собеседника – не мог всегда отказывать, ибо их дед амир Тимур Гураган, повелитель вселенной, увлеченный походом в далекие страны, воевал в Грузии и указа о наказании Мирзы Искандера не слал. Прибыл лишь вызов обоим царевичам к деду, но в нем не содержалось ни осуждения Мирзе Искандеру, ни поощрения Мухаммед-Султану, правителю Самарканда и нареченному наследнику повелителя вселенной.

Возле дворца правителя, где уже достраивался горделивый мавзолей над могилой святого покровителя гончаров, в саду, увязая в размякшей земле, бродили горлинки. Пахло набухшими горьковатыми, как миндаль, почками. Слабо благоухали фиалки, притулившиеся вдоль стен и кое-где проглядывавшие между листьями, единственно зелеными в еще голом саду.

Через низенькую дверцу Мухаммед-Султан высунулся было наружу, но остановился, глядя вглубь сада, где за стволами виднелся стройный рубчатый купол, словно бы накрытый складчатой голубой шалью. Любовно воздвигаемый Мухаммед-Султаном и ныне уже завершаемый зодчими, он высился не только над могилой святого, уединенно поместившейся в нише, но и над подземельем, где, исполнив свой земной путь, будут погребены мужчины из семьи Мухаммед-Султана, может быть еще не родившиеся.

Вокруг кустов роз, топорщивших голые колкие ветки, глина, гладкая, утопанная дождями, затвердевала на легком ветру.

Услышав, как рядом во дворе затопотали лошади, как лязгнула и звякнула чья-то оседловка, правитель торопливо нырнул назад в комнату и пошел медлительно прохаживаться от стены к стене, длинными ступнями давя алый ковер, распахнув зеленый халат, опустив, словно в раздумье, увенчанное белой чалмой длиннощекое лицо.

Таким, не спеша прохаживающимся, хотел он предстать перед Мирзой Искандером, но оказалось, что это прибыл со своей охраной гонец Айяр, тоже вызванный сюда: Мухаммед-Султан слал его к деду с известием о предстоящем выезде внуков.

Айяр вошел не той стремительной поступью, как хаживал прежде, – тогда казалось, что в любое мгновение и с любого расстояния он может прыгнуть в седло, а невеселым, но покорным шагом испытанного слуги, послушно готового на любое дело.

Мухаммед-Султан, поглядев в печальные карие глаза гонца, сказал:

– Передашь на словах: на заре я выеду. Мирза Искандер едет при мне. Здесь все оставлю по слову повелителя. Войска и обозы мои собраны и пойдут следом. Будем поспешать, как указано повелителем.

Айяр, прижав ладонь к груди, дал знать, что слова понял и передаст, но стоял, ожидая, не прикажут ли еще чего-либо.

Мухаммед-Султан, помнивший этого спорого гонца, ценимого дедом, повнимательнее взгляделся в Айяра и заметил первые нитки седины в рыжеватой бороде.

– Не рано ль седину пустил, гонец?

– По воле Аллаха.

– Да и сам... здоров ли?

– Боли нигде не слышу, милостивейший.

Как велось у Тимура, царевичи, росшие среди воинов, обходились с ними запросто. Таким, запросто беседующим с простым гонцом, Мухаммед-Султан не хотел бы попасть на

глаза насмешливому и надменному Мирзе Искандеру, разбалованному мальчишке. Но таким-то и застал его Мирза Искандер, входя в комнату.

Айяр был тотчас отпущен, а сам правитель, не отвечая на сдержанный привет, не обращаясь к царевичу, негромко, словно себе самому, сказал:

– Еду к повелителю.

Мирза Искандер, выжидая, молчал, и Мухаммед-Султану пришлось добавить:

– И тебя поведу.

– На цепи?

– На цепях водят коней либо кобелей, – назидательно возразил правитель.

– А баранов на аркане... На чем же еще вести?

– Понадобится, так и на аркане.

– Не бывало барана, чтоб на аркане волокли от Самарканда до Грузии. Ценен, видать, баран, ценней золота.

– Цену там скажут.

– Сказать скажут, да оплатят ли аркан?

Мухаммед-Султан впервые бегло глянул на Мирзу Искандера, строго стоявшего у двери в туго запахнутом, нарочито смиренном, простонародном черном халате, в черной тюбетейке на голове, с густо обшитой драгоценными ормуздскими жемчугами собольей шапкой в руке.

Как ни досадно было, а может быть, именно оттого, что было досадно, правитель не знал, чем бы ответить на дерзость царевича, ведь арканом он именуется всю эту длинную суету, какую тянул правитель почти целый год, разбираясь в проступках, печась о содержании, хлопоча о надежной охране в пути бесстыдника, неслуха, мальчишки.

Велико было поползновение уйти, оборвать досадный разговор. И Мухаммед-Султан не устоял, теми же длинными, но притворно медлительными шагами он двинулся к двери, строго сказав:

– На заре отправимся.

Но он не успел дойти до двери: беззаботно надевая шапку поверх тюбетейки, Мирза Искандер весело согласился:

– Что ж... Когда поведут!..

И еще прежде, чем правитель поспел дойти до своей двери, Мирза Искандер ушел через другую дверь во двор к своему коню, звеневшему серебром цепочек, свисавших с уздечки, тоже искусно украшенной серебряными бляхами, которую царевич ухитрился заказать заочно на базаре, отдав для этого браслеты своих жен, и отлично исполненной русским кузнецом Назаром.

Не дав слугам посадить себя, Мирза Искандер легко и шаловливо сел в седло.

Его окружили и, едва он тронулся, поехали следом пятеро слуг – двое своих, в таких же, как на царевиче, черных ферганских халатах, и трое приставленных от Мухаммед-Султана, облаченных в тусклую самаркандскую домотканину, уже изрядно потертую ремнями поясов: повелитель вселенной не любил, чтобы воины красовались убранством, если они не в походе, не в битвах, а только на дальних караулах. Стоять же в стражах самаркандского правителя, когда сам Тимур находился в таком далеке от Самарканда, по мнению Тимура, означало то же, что нести дальний караул. И правитель, памятуя это, не допускал никаких поблажек воинам, лишенным счастья и чести пойти в поход. Да и воины-то здесь были – либо обноски великого войска, уже негодные для новых битв, обессиленные ранами ли, возрастом ли, либо собранные из глухих областей невзрачные, пожилые земледельцы, неловкие в походных делах.

Мухаммед-Султан, увязая, оскользаясь и торопясь, шел по растаявшей глине через сад к достраиваемому зданию, которое так хотелось ему завершить до отъезда и которое послушно росло и становилось красивее, чем он задумал. Одно это из всех его дел наполняло сердце радостью и гордостью счастливого завершения.

Вторая глава

Баня

1

Грузная тяжесть зимних снегов еще лежала на горных хребтах. Но по предгорьям кое-где уже проглянули прогалины, и пастух заиграл свою песню на дудочке. Его озябшие, непослушные пальцы тупо толклись по желтой тростинке зурны.

Жалобный напев, как бы мерцающий на ветру, порой достигал до гор, до перевала, до тех скользких троп, где даже самые нетерпеливые и удалые путники еще не дерзали ступить по оледенелым карнизам над безднами.

Напев долетал и до приземистых, словно прижатых к земле зимних селений, притулившихся во впадинах предгорий вокруг Сиваса. Долетал и до самого города Сиваса, где над могучей толщей крепостных стен несли караул окованные броней воины султана Баязета.

Пришла весна, и еле внятный, дальний напев пастушеской дудки нежил и тревожил жителей Сиваса, как всегда волнуют и нежат человека первые знаки весны, хотя ветер, сползая с гор, еще по-зимнему холодит камни узких горбатых улиц.

Темные истертые плиты мостовых по-зимнему звонко вторили стуку каблуков, подков и копыт, всей дневной стукотне торгового города. Но сквозь плотную городскую толчею нет-нет да и просачивалась сюда простая пастушеская песенка.

Как первая поросль трав, как запах наволгшего снега гор, как стаи перелетных птиц, высоко над Сивасом проносящихся из лесов и с озер Африки к родным гнездовьям на север, так тонкая жалоба зурны казалась непременным признаком весны, и весна без зурны не могла быть полной.

Близилась весна, пора густых первых дождей, что смывают снег с перевалов, и дороги откроются, в город придут караваны, издалека доберутся сюда долгожданные люди – купцы, гости, – новости.

Но радость весенних предчувствий мешалась с тревогой, ибо поздней осенью прошел слух, будто несметные полчища степняков уже движутся на Багдад, а сам их вожак точит меч в Арзруме, откуда расходилась о нем дурная слава, никому не суля ни мира, ни милости. Вскоре перевалы закрылись, завалило их снегами, заволокло туманами, и мнилось: все опасности так и останутся навсегда по ту сторону гор; мечталось, что весной придут, как искони бывало, караваны с востока – из Колхиды, из Ирана, из стран, славных искусными ткачами и чеканщиками, где тверды руки и зорки глаза серебряников, где быстры пальчики иранских ковровщиц. А подале тех базары Китая, откуда, было время, везли сюда шелка и фарфор, бронзовые зеркала и яшмовые браслеты, бумагу и стекло, золотые узорочья и малахитовые ларцы, и когда случалось такому каравану явиться, наперебой кидались купцы, спеша захватить все эти диковинки, на которые всегда был спрос и которые никогда не падали в ценах. А через те же ворота приходили в Сивас еще и караваны из Индии, приносили парчу и ситцы, благовония и тисненый сафьян, драгоценные камни и жемчуг...

Но поперек тех путей растеклись полчища Тимура, и уже не первый год сивасские купцы ищут окольных дорог к далеким манящим базарам. Многие из дальних базаров растоптаны конницей нашествия, не стало там ни славных мастеров, ни добрых изделий, а где и осталась жизнь, там хозяйничают, владеют и товарами, и караванами купцы Мавераннахра – самаркандцы, бухарцы.

Древний Сивас на своем веку посмотрелся на всяких властителей вдосталь, много претерпел тяжких бедствий, нашествий, разорений. Знал прославленных тиранов и владык, но

знавал и мудрецов и зодчих. Слышал грохот нетерпеливых разрушений и галдеж грабежей, но взирал и на молчаливый труд созидателей. Тяжелые камни нынешних стен, гладко отесанные стародавними каменотесами, прежде были стенами других домов и храмов богатой, крепкой Себастии, города могущественной Византийской империи, владевшей в те века десятками таких городов, богатых и знатных. Но и государства дряхлеют, и ныне под стенами великого, вечного Константинополя, у самых ворот священного Царьграда, стоит Молниеносный Баязет, замахнувшись кривым ятаганом над самым сердцем Византии, готовый ударить и рассечь сердце, царственно бившееся тысячу лет.

Древний Сивас видел, как на смену византийцам и строгим сельджукам ввалились сюда монголы, камень по камню разметали храмы, жгли костры внутри дворцов, а колодцы, вырытые еще вавилонскими рабами, запалили телами мирных людей. Но город пережил монголов, из разметанных камней сложил новые стены и опять поднялся, как и после прежних бедствий, когда те же стены были развалены и жизнь в них погашена. Но камни остались.

Руки уцелевших обитателей опять сложили стены из старых камней, под новыми кровлями снова затеплилась жизнь. И новые здания из старых тесаных камней, кое-где надколотых и щербатых, порой повторяли облик былых городских домов – снова поднимались полукруглые ниши и карнизы над окнами, и окна зарешечивались витыми по-византийски, коваными, прутьями, и там, за этими решетками, снова, как бывало, пламя очага или мерцание светильника озаряло усталых людей и неустанных детей. Уже не византийский, но снова живой, уже не Себастиа, а Сивас, но живой, сколько бы ни было пережито утрат и лишений, город стоял. И пусть забылось, чьи руки сажали черенки в городской тесноте, но кривые суставы старых лоз упирались в шершавые стены и опять поднимались.

Кое-где уцелели мостовые прежних улиц, стертые, скользкие квадратные плиты, уложенные наклонно, чтобы серединой улицы стекала дождевая вода, и порой их преграждал то угол, то портал дома, поставленного по замыслу и по прихоти новосела, не ведавшего, где прежде ходили, где ездили жители славной Себастии. Случалось, новые улицы пролегали, как по холмам, по грудам щебня и по руинам, новые мостовые порой оказывались выше, чем окна уцелевших зданий, и лишь щель из-под пожелтого мраморного карниза обозначала место прежнего окна или входа. Всюду жили. Жили, запамятавав тех, кто строил и согревал эти стены прежде.

Отстроившись, поднялся Сивас над своими руинами, сжатый прежними крепостными стенами, славящимися несокрушимой толщиной в десять аршин и высотой в двадцать аршин, из хорошо обтесанных больших камней.

Семь ворот было в городе. Над каждым из ворот непреклонно господствовали дюжие башни, иные еще со времен Византии, другие – подновленные радением сельджукского султана Ала-ад-дина Кай-Кубада.

На востоке, на юге и на севере у подножия стен темнели рвы, полные воды. Не было рва лишь на западной стороне, но западные башни и стены стояли столь высоки и мощны, что оттуда никогда никакой враг не подступал к городу.

Прикрывшись от ветра рваной овчиной кожуха, пастух играл. Ветер то нес его напев до города, перекидывал через стены, то вдруг сдувал в сторону, как пламя с фитиля, то кидал до самых гор, где не было еще ни пути, ни дороги.

Но когда еще нет пути, кто-нибудь бывает тем первым, кому выпадает доля протоптать стезю по нехоженой целине.

Двое шли по оледенелым горам, спускаясь с перевала, кое-где постукивая посошками по нависшим пластам смерзшегося снега, прежде чем ступить на повисшую над бездной наледь, кое-где потопывая по откосу подошвами, прежде чем шагнуть на снег всей ногой.

Из них то один шел впереди, то другой, а случалось, что первый ступал, крепко держась за руки второго, и тогда они шли, как осторожный снежный барс, упирающийся всеми четырьмя

мягкими лапами в неверный откос, в единый комок сжав настороженность, и силы, и непрелюбимую волю.

Так, начав свой путь на заре, они еще засветло перешли снег и вышли к каменистым тропам, выдолбленным за тысячи лет копытами неисчислимого множества овечьих и козьих гуртов.

И вдруг оба замерли: они услышали, как первый оклик, ласковый, мирный напев зурны. Она как бы звала их, но и просила о чем-то, и о чем-то предостерегала. И это надо было понять, хотя, казалось, все просто и давным-давно понятно в этом с младенчества знакомом напеве.

Какая-то тревога вползла в сердце, словно на совести дремало что-то, чему не надо бы тут просыпаться. И вот проснулось, и оттого как бы возникло препятствие на пути, какого не только не предусмотрели, но и в мысли не могло прийти, что оно есть на свете. И все, что преодолено было за этот день в горах, в снегу, между сизыми оледенелыми камнями, на кручах над скалами, под ударами промозглого ветра, под струями колкой снежной пыли, слепящей и палящей, – все показалось тихой, спокойной дорогой, а то, что ждет их, – истинной бездной, куда избави бог сорваться.

Они слушали далекую песенку, и ни одному не хотелось первому сделать первый шаг.

Но, молча постояв, молча решительно пошли. И хоть на дороге попадалось еще много оледенелых камней, уже не хватались друг за друга, шли каждый сам по себе, полагаясь на посохи, на упругую силу ног, на изворотливость, если случалось поскользнуться. Один из двоих – бадахшанец по имени Шо-Исо, в белом шерстяном коротком чекмене, обшитом широкой алой тесьмой, опоясанный жгутом желтой холстины. Другой, в стеганом сером халате, перехваченном зеленым кушачком, в серой чалме, поверх которой растопырился вровень с плечами, залубенев на холоде, войлочный черный башлык, отчего голова казалась лишь верхом безголового туловища, – самаркандский купец, выходец из степного Суганака Мулло Камар. Каждый нес переметные сумки, перекинутые через плечо, но каждый смотрел вперед по-своему: Шо-Исо, запрокинув голову на тонкой шее, смотрел, казалось, не глазами, а круглыми черными ноздрями короткого носа. Мулло Камар – маленькими неморгающими глазами.

Путники и доселе шли помалкивая, но еще крепче сжали уста, когда из-за поворота гор вдали показался город. Они не знали, далеко ли до него, а он уже стоял перед ними.

Под прозрачным переливающимся покрывалом заката, как горделивые красавицы, вздымали свои статные станы башни над стенами. Стены уже задернуло мглой теней, но башни сияли, опаловые в свете вечерней зари. Отсюда не было видно ни жителей, ни стражей, только башни да за ними каменные купола и стая коршунов, озабоченно паривших над куполами.

Песенка зурны не стала громче, но теперь она звучала чище и настойчивей, хотя ни пастуха, ни стада нигде не было видно среди горбящихся зеленеющих холмов, заволакиваемых холодной мглой близившейся ночи. Только башни города еще сияли, багровея.

Навстречу полз сырой серый туман, заслоняя и город вдали, и дорогу.

Путники торопились, спускаясь в долину на негнущихся, усталых ногах. Уже темнело вокруг, когда они вышли на проезжую дорогу.

Они пришли к постоялому двору, сложенному из больших желтоватых плит. С каменных кровель ворчливо лаяли собаки, чуя откуда-то с гор запах волчьих стай или другого зверя. Во дворе горел огонь под котлом. Багряный дым очага стлался по закопченной стене. Молчаливый привратник отвел пришельцев к их месту и возвратился топить очаг. Здесь Мулло Камар и дождался утра, когда после предрасветной молитвы открылись городские ворота.

2

За ночь отогревшись, отоспавшись, с достоинством Мулло Камар и Шо-Исо ступили на мост над черной с медным, ржавым отливом водой и, перейдя глубокий ров, вошли под низкий почернелый свод башенных ворот.

Воины впустили их, потыкав древками копий в переметные мешки, недружелюбно покосились на свисавшие с поясов ножи, показавшиеся излишне длинными.

Пропитанная запахами конюшен и горелого масла улица безучастно приняла пришельцев. Верх стен уже осветило солнце; сыроватая глубина улицы оставалась еще темной. Сторожа, благодушные спросонья, скатывали одежды, служившие им ночью ложем, а перед рассветом – молитвенными ковриками. Вели лошадей к водопою. Из караульни выпустили каких-то женщин, пытавшихся рукавами закрыть глаза, не то заплаканные, не то заспанные. Воины пренебрежительно шли мимо расступавшихся жителей, это были сытые, разбалованные воины, незадолго до того наполнившие Сивас, самонадеянные воины из прославленного себастьи-ского войска, которым гордился и на которое полагался султан Баязет. Он сам привел их сюда и оставил здесь для охраны города. Жители, встревоженные было их появлением, вскоре не только успокоились, но и предались беспечности – таких отборных стражей не поставили бы здесь, если б городу грозили враги, таких держат лишь для украшения города.

На городской площади за горами камней и песка строился торговый ряд. Тонкие кирпичи верхних кладок еще не обсохли, а уже каменщики поднялись наверх начинать новый свой трудовой день. Они расхаживали по стенам, тронутым солнечным светом. Внизу, во мгле улицы, люди проходили, еще зябко пожимаясь от сырости, а строителей наверху уже озаряли яркие, ликующие лучи утра.

Поглядывая на все это быстрыми маленькими глазами, Мулло Камар молча проталкивался вперед, будто бы торопясь, но успевая приглядываться ко всему, что встречалось. Шо-Исо, шагая широко, как верблюд, тащил переметные мешки мимо сторонящихся встречных и глядел на все свысока, запрокинув на длинной шее маленькую широконосоую голову.

Торговый ряд строился любовно. Возводились арки, в тени которых заворочается торговля. Завершались своды, под которыми купцы расставят и разложат товары на соблазн и зависть покупателям. И тут же у стен на просторных каменных порогах, приседая на корточках, продавцы уже вынимали из корзин и мешков свои убогие сокровища – связки веревок и канатов, резные деревянные безделки для домашнего обихода, детские игрушки из глины и всякую всячину.

Женщины, дети, старики задерживались, с любопытством глядя на новые и новые извлекаемые из мешков товары, выжидали, пока опустеет мешок, словно у каждого продавца на дне затаено нечто самое любопытное и долгожданное.

Безучастно и безропотно ослы ждали, пока с их спин сгрузят маленькие вязанки дров. Буйволы приподымали над желтыми зубами свои влажные губы, принюхиваясь к непонятным городским запахам, а с арб сгружалось пестрое добро – плетушки с курами, корзины овощей, свитки ковров и паласов.

Кое-где в стороне от людных мест молча стояли воины, еще не успевшие приглядеться к этому городу, куда их привел и оставил на постое сам султан Баязет.

Облюбовав неподалеку от базара древний постоялый двор, прозванный Римским, Мулло Камар оставил там свою кладь, по привычке пощупал пайцзу, защиту в то место штанов, которого касается только своя рука, и снова вышел на городские улицы, а спутник его сел в людной харчевне, куда сходились съехавшиеся на базар окрестные земледельцы.

Мулло Камар шел, поглядывая, как тут и там каменщики кладут стены домов или, может быть, мечетей, прислушивался, как переговариваются строители, ободряют друг друга, подсказывают, чтобы строение сложилось крепче.

Судьбы строений подобны судьбам людей. Случается, в битвах, когда отряд воинов, стоя плечом к плечу, бьется с могучим врагом, десятки воинов падают и гибнут, а иные уцелевают без единой раны, словно не им грозили стрелы, мечи и копья. Так среди груд щебня и угля пожарищ остаются стоять одинокие здания, целые и невредимые, как стояли до той беды, что сокрушила рядом с ними стены более крепкие, более достойные устоять.

Так, когда рухнули в городе дворцы правителей, неподалеку от них уцелели невзрачный дом пекаря, приземистая пекарня и даже садик у ее стены. Уцелела армянская церковь Богородицы, стройная и хрупкая, как невеста, а византийский собор на той же площади весь был развален и растаскан по камешку, и из его камней сложили себе дома те люди, что пережили нашествие, отсидевшись в подземельях, те, что прежде робко проходили мимо этого чтимого многовекового собора. Был тут разрушен и караван-сарай, звавшийся Вавилонским, воздвигнутый в незапамятные времена, как храм, с глубокими нишами, где торговали и жили купцы, приезжавшие из Халеба и Багдада. Но столь же древняя, ветхая баня, притулившаяся у самых стен Вавилонского сарая, выстояла.

Ее издали можно было приметить по длинным рядам белья, развешанного для просушки, ибо, по издревле заведенному обычаю, посетители сдавали свое белье банщикам, и, пока гости мылись, прачки попевали со своим делом, выстирав, высушив и уложив все стопками на место.

В нишах бани уцелели мраморные львиные головы, источавшие из пастей струи светлой воды. Уцелели и просторные каменные скамьи на львиных лапах, и доныне привольно было тут разлечься, чтобы искусные банщики растирали и холили купальщиков. Но банщикам сподручнее было мыть гостей, уложив их на залитом водой полу, на узеньких половичках. Полы в этой бане тоже сохранились с незапамятных времен, с византийских, а может быть, еще и римских, сложенные узорами из кусков разноцветного мрамора. Сохранилась и мозаика на полу, изображавшая розовую купальщицу, проливающую на себя из желтого рога голубую воду. И когда поверх мозаики по полу текла прозрачная теплая вода, казалось, розовое тело нагой купальщицы вздрагивало и трепетало под струями и дрожало, когда банщик, шлепая по лужицам пятками, укладывал возле красавицы нового посетителя.

Все эти камни, обжитые, обтертые великим множеством людей, мывшихся, нежившихся, услаждавшихся здесь, служили новым людям. И новые люди любовались многовековой красотой, окружавшей их в теплом тумане под круглыми сводами, словно под расписной опрокинутой чашей.

Сюда и вошел Мулло Камар, зная, что не только дорожную пыль, но и всякое томление начисто смывают здесь и что собеседники здесь словоохотливы и простодушны.

В тепле и полумраке, позабыв о суетных буднях, о неотложных заботах, о тревогах и обидах, все повседневные дела, как поклажу, сбросив за мраморным гребнем высокого порога, люди нетерпеливо снимали в предбаннике одежды и, обмотав бедра мокрыми передниками, беседовали душевно, проникновенно, прозревая истины, коих не могли бы постигнуть в суете повседневных дел.

Сюда, в предбанник, затекал свежий ветер снаружи, а из-под приземистых сводов, окутанные облаками пара, сюда высывались голые бородачи отдышаться от блаженной духоты, но вскоре снова проваливались во мглу душной утробы.

Мулло Камар, скинув потускневшую одежду, бросив банщику пропотевшее белье, сел на низенькую, как порог, каменную скамью, плотно прижатую к стене. Скамья кое-где обкололась, обтрескалась, но ее серый жилистый мрамор приобрел благородный голубой оттенок оттого,

что за сотни лет его отгладили своими задами бесчисленные купальщики, садившиеся здесь остыть и обсохнуть перед одеваньем.

Вдоль другой стены тянулась такая же скамья, и ее во всю длину украсил древний мастер, врезав в камень луноликих птиц, просунувших острые девичьи груди между виноградными гроздьями. Верх же и у той скамьи был столь же обтерт и обколот, а по всей ее длине лежало белье стопками, либо свертками, либо сброшенное кое-как, наспех. Но чтоб не смешать его при одеванье, его покрывали то красным шерстяным колпаком, то пышным, в шелковых складках тюрбаном, то простой меховой шапкой, а то и придавливали кривым кинжалом или тяжелым поясом с широким ножом в кованых ножнах.

По одеждам, оставленным здесь, видна была причастность их хозяев обычаям различных народов, разным верам и сословиям, пока купальщики, обнаженные и разомлевшие, сообща нежились под сводами, где сквозь пар, захлебываясь или потрескивая, трепетали светильники, источая струи копоты и расточая причудливые отсветы на лоснящиеся тела.

Здесь каждый не только казался мудрее и добрее, но и вправду становился и добрей, и мудрей. Многие городские дела и даже судьбы неторопливо осмыслились и бесповоротно решались здесь. Люди, долго державшие зло или обиду один на другого, мирились здесь, где случилось встретиться обнаженными, распростертыми на теплых плитах. Здесь завершались торговые сговоры, на которые не хватало решимости в базарной толчее. Здесь договаривались о браках своих детей пожилые отцы, свободные от мнений и упрямства своих супругов. Здесь казались понятнее и безобиднее многие события, представлявшиеся неотвратимыми и грозными там, наверху, за порогом бани. Здесь люди становились проще, в их душе оживали ребяческие чувства, доверчивость и озорство, мечты и желания. Здесь легче шутилось, мнилось невозможным никакое бедствие, когда против множества бедствий выстояли столь древние и плотные своды над головой, когда так дружелюбно разверзли пасти львиные морды, радуя всех чистыми, неиссякаемыми струями воды.

Безмятежно разлегшись, жители Сиваса беседовали, поверяя думы и вести, за эти дни занесенные в город со всех сторон, о войнах, о товарах, о султанах и полководцах, о женских проказах, о похождениях купцов в плаваниях, красавиц – в укромных покоях, воинов – в долгих походах. Купцы славили дальние дороги, приговаривая: дороги, мол, подобны жизни человеческой, да вот досада, рано ли, поздно ли человеческая жизнь кончается, а дороги бесконечны.

Вода струилась и всплескивала. Голоса банщиков, как из труб, вдруг гукали, врываясь в нескончаемый равномерный рокот многих бесед.

Звякала медь кувшина.

С пола из-под пят банщика поднимался новый собеседник. Завязывалась новая беседа, неиссякаемая, как родник в горах.

Мулло Камар, переваливаясь с боку на бок и со спины на живот, помалкивал под пятнами банщика, то плясавшего на его спине, то склизкими тряпками растиравшего ему грудь.

В тот весенний день животворные струи бесед все чаще прерывались горькой мутью тревожных слухов.

Приметив, что наперекор всем беспокойным вестям люди переводят беседу на добрые, мирные новости, Мулло Камар перелег с пола на скамью и разговорился:

– Несокрушимый Тимур взял Арзинджан. Слыхали?

Беседы смолкли. Из всех углов люди всматривались в круглоголового, круглоплечего человека, приподнявшегося на локте, чтобы это сказать.

– Арзинджан? А что это за такой Тимур?

Немолодой банщик, разогнувшись над купающимся, объяснил:

– А это татарского вожака так кличут! Это я тут еще перед самой зимой слышал. Да ведь тогда сказывали, зима его накрыла в Арзруме. Такой был слух. А откуда ж он в Арзинджан попал?

Мулло Камар поучительно объяснил:

– Он куда хочет, туда идет. Перед ним нет преград.

Распарившийся купец, почесывая мокрый живот, засмеялся:

– Как это нет преград, когда перевалы завалены?

В это время в баню вошел и только что разделся благообразный старец. Он встал, пригнувшись, под сводом входа, прислушиваясь, длиннолицый и украшенный длинной прозрачной бородой. Белоносый, с глубоко впавшими щеками, поглаживая грудь, морщинистую и увядшую, как у старухи, он поучительно сказал:

– На все воля Аллаха. Он не позволит злодею потешаться над мусульманами.

– А что же он, не мусульманин, этот хромой? – удивился густоволосый купальщик, облепленный хлопьями пены, весь искурчавленный пучками красновато-черных волос, разросшихся даже на его смуглых плечах. – Мусульманин или нет? – допрашивал он торопливым и грубоватым говорком, обычным для делового армянина.

Здесь, свободные от одежд, все казались людьми одного народа, хотя наверху, на базарах и улицах, их разобщали и обычаи, и одежда, и дела. Здесь все беседовали на общем, на общепонятном тюркском языке, а у себя дома каждому был роднее либо тюркский, либо армянский, либо курдский язык. Да и на сивасских базарах в те годы большой купец без трех-четырех языков не смог бы разобраться среди покупателей: приезжие говорили то по-фарсидски, то по-арабски. Но арабским в Сивасе владели лишь те из купцов, что торговали с далекими базарами Багдада, Дамаска, Халеба, а на фарсидском говорили все приходившие с караванами из Мавераннахра, Ирана, Индии. На фарсидском писали книги ученые многих стран, поэты многих народов слагали и пели свои касыды на певучем фарсидском.

Но здесь, обнаженные и разомлевшие, жители Сиваса, сограждане, чуждаясь розни, не только снисходительно внимали, но и душевно признавались в сокровенных раздумьях тем, с кем поостереглись бы говорить, будь на них одежда их сословий, их народа или каких ремесленных объединений.

– Мусульманин ли он? – воскликнул, отвечая армянину, бледный горбоносый человек с очень широким лицом, покрытым множеством черных завитков, но борода из них почему-то не получалась. Небольшой горбатый нос на таком широком лице казался клювом, а узкие рыжеватые глаза еще более сузились, когда воскликнул: – Мусульманин? Ну нет!

Мулло Камар даже привстал на скамейке.

– Нет?! Он Меч Аллаха, вершитель воли божьей!

– Меч Аллаха? Не сквернословь! Не богохульствуй. Этот меч... Когда он разит истинных мусульман... Кто ему дал право губить мусульман, которым жизнь дал Аллах? Он не мнит ли себя выше Аллаха? Не Меч Аллаха он, а меч против Аллаха!

– Вся вселенная зовет его Меч Аллаха, а ты, человек, один из всех против!

– Я один? Не ты ли один, что его славить... Я пришел сюда из Мараги, где степняки уничтожили город. Тысячи мусульман погублены. А тех, что уцелели, взял и продал в рабство. Шиитов продавал суннитам. Суннитов – шиитам. Вот так меч! За что же своих рабов карал Аллах этим мечом?

Банщик, мокрым полотенцем вытирая испитое лицо, согласился:

– Наш Баязет тоже рубит врага. Как истинный мусульманин, воюет против неверных. Обращает в ислам. Была ли война у Баязета с мусульманами? Нет!

– А если на Баязета нападет мусульманский падишах? А? – спросил беженец из Мараги.

– Грех нападать, а когда защищаешься, кто спрашивает о вере! – ответил караванщик.

Мулло Камар, сердясь, хотел спорить, но ничего не находил, чем мог бы в этом споре сразить собеседников.

Покой его души нарушился. Может быть, сказывалась усталость от недавнего тяжелого пути.

Люди приходили сюда, но никто не спешил уйти отсюда. Им хотелось поговорить о чем-нибудь веселом, утешительном, но каждый продолжал рассуждать или спрашивать о нашествии, которое, казалось, наглухо заслонено от Сиваса снегами гор, но уже крепко проникло в мысли и тревоги каждого здесь.

Один из вновь вошедших, едва стянув с головы рубаху, сообщил:

– Татары-то близко! Оттуда двое купцов сюда перебрались.

– Перевал-то закрыт. Перелетели они, что ли?

– Я сам видел. Один сидит в харчевне у Хасана, рассказывает: через горы они на брюхе переползли, а караван на той стороне оставили. Татарские разбойники за караваном гнались, да отстали. Теперь у тех купцов вся надежда на весну – успеют перевалы открыться, караван сюда перейдет. Промедлят – разбойникам достанется. Все зависит от перевалов.

Длиннолицый старик наставительно сказал:

– Уповать надо не на весну, не на перевал, не на караванщиков, это суета и помрачение.

Надо уповать единственно на Аллаха.

Армянин, вздымая над головой кувшин, чтобы смыть мыло, замер было, но тут же решительно, с размаху поставил кувшин на пол и возразил:

– Богом даны нам ноги, чтобы мы сами решали, когда стоять, а когда бежать. Знающие люди говорят: за кем татары гонятся, тому не убежать. Как это мог караван уйти, если за ним гнались? Сомнительно.

Мулло Камар подтвердил:

– От Тимура не уйти. От него ни за стенами не спасешься, ни в тайнике не утаишься, ни в степи не ускачешь. Спасенье в одном – в послушании. Он скажет: «Покорись» – покоряйся. Он скажет: «Дай» – отдавай. Он скажет: «Доверься» – доверяйся. В этом спасение.

Армянин:

– Спасение – в послушании. И попомните мое слово: в Сивасе он будет. Сивас у него на дороге.

Все тут сошлись наги и беззащитны, но дума у каждого была своя. Каждый гадал, как дитя своего народа, каждый искал свое решение этой нелегкой загадки: что делать, если нагрянет бедствие?

Чем малочисленнее народ, тем ревностнее блюдет он свои обычаи, тем упорней сторонится других народов. В этом признак его слабости, ибо он боится потерять себя, сближаясь с другими народами.

Так в те времена было разорвано на клочки все человечество. Обособляясь, люди пытались сберечь свои маленькие очаги, каждый заботился о своей лачужке. И насколько больше было разобщенных, одиноких лачужек, настолько беспомощнее оказывалось человечество перед тем, кому удавалось соединить в единую силу хотя бы несколько очагов, племен, селений или городов.

А в каждом городе и порой в каждом селении людей разобщали их дела, их ремесла, их веры, их обычаи. Чем малочисленнее объединения ремесленников, тем строже держались они своего устава, тем ревнивей передавали ремесло из поколения в поколение по наследству: гончар своим детям, кожевник – своим, медник – своим. Даже дочерей отдавали лишь за людей своего ремесла. Молились каждый своему небесному покровителю, нарочито растравляя в себе неприязнь к людям других ремесел, дабы устоять за своим станком либо горнилом, дабы никого не одолело желание взяться не за свое ремесло, дабы и к своему ремеслу не допу-

стить чужого человека, оградить свой труд, свой очаг, свой род от тех, что, явившись со стороны, вдруг превзойдут тебя в твоём наследственном деле.

Чуждались один другого и купцы, и мелкие базарные торговцы, каждый каждого. Но единоверцев на недолгое время объединяли общие праздники. Родичей – свадьбы. И только большие бедствия могли объединить всех.

В тот час в бане переползали от сердца к сердцу лишь тревоги, дурные предчувствия, недобрые слухи, и каждый искал против них свое средство молчком от остальных людей.

О том и заботился Мулло Камар: заронить тревогу и страх в сердца жителей Сиваса, но чтобы это не соединяло, а разобщало их.

– Повелитель вселенной милостив, когда идут к нему за милостью. Кого пожалеет, кого казнит – каждому по заслугам. Кто смирится, того вознаградит, кто заупрямится, тому голову прочь!

Вдруг смуглый лоснящийся, сверкая зубами, сверкая белками глаз, сверкая золотой серьгой в ухе, турок, караванщик из Бурсы, захохотал:

– Эта хромая лиса красива будет, как побежит от нашего султана! О! Хромык-хромык-хромык... Ха-ха-ха!

Но снова длиннородый Бахрам-ходжа, старец, сам ужасавшийся при упоминании завоевателя, но не менее страшившийся и сил Баязета, с укором воскликнул так громко, что горбун, караванщик Николас Венециан, направлявшийся в предбанник из глубокой темной ниши, где уединенно мылся, остановился и прислушался. Он постоял, накинув белое полотенце с острыми концами на свое маленькое тельце на несоразмерно длинных ногах. В этом виде он был похож на аиста, да и ростом едва ли был выше той птицы, за что завсегдатаи бани между собой прозвали его Аистом, хотя в глаза никто так его не звал.

Бахрам-ходжа обращался ко всем слушателям:

– Аллах милостив. Он не допустит надругательства над мусульманами. Я сам это читал. Я грамотен. Я любитель всякий почерк читать: возьму давнишний дирхем и весь прочитаю, будто тайну разгадываю.

– Что ж такое вычитали вы? – спросил Мулло Камар.

Бахрам-ходжа громко, подражая проповедникам, поучающим верующих на пятничных молитвах, возгласил:

– А то, что на все воля Аллаха, ни единый волос не упадет с головы человека без воли Божьей.

Армянин закричал:

– Неужели у Бога нет других дел, как следить за бородьями?!

На этот возглас слушатели обернулись осуждающе.

Горбун Николас пружинисто ушел к своему белью.

– Воля Аллаха! – одобрил Мулло Камар. – Ибо Тимур есть Меч Аллаха. Меч Аллаха!.. Молите Аллаха о пощаде и милости, ибо он щедр и милостив, но противление его мечу противно воле Аллаха!

Беспокойство нарастало в людях от этих настойчивых предостережений.

Многое пережил Сивас. Его жители сызмалу наслышались о грозах, бедствиях, гибелях, прошедших, как сквозняк, сквозь родной город от стародавних времен до недавних лет.

Так сквозной ветер вдруг опрокидывает и раскрывает книгу истории и стремительно, как одержимый, листает ее и треплет, пока страницы ее не оторвутся от корешка, а тогда разметет их по широким степям, по горным теснинам, и одни листки закатятся в овраги, другие прижмутся к стеблям трав, запутаются в бурьянах или взлетят выше, чем лежали в книге. Стенные ливни, горные снегопады прибьют их к земле, засыпят песком или снегом, многие из них забудутся навек, и лишь те, что удержались за корешок, уцелеют в книге, как осколок давних событий, через сотни лет удивляя тем, что некогда сверкало и шумело на свете.

Жители Сиваса, как недавний сон, еще помнили владельцев Сиваса и тех, кто зарился на него, сменявших один другого.

Был Бурхан-аддин, поощрявший торговлю и оборонявший базары от кочевых скотоводов – от туркменских племен Черных баранов или Белых баранов, различавшихся между собой своими шапками, белыми или черными, но равно вожделевших к товарам и запасам сивасских купцов.

Хан чернobarанных туркмен Кара-Юсуф, когда воины Тимура дошли до степей, обжитых стадами хана Кара-Юсуфа, кликнул клич по ближним и дальним отарам. И старейшины многочисленного племени ушли вслед за Кара-Юсуфом, отгоняя скот подальше от Тимуровых войск, под защиту османского султана Баязета. Баязет хлебосольно принял Кара-Юсуфа, суля его стадам богатый нагул на османских выпасах, а самому хану и его знатным спутникам – почет и довольство под османским небом, заверяя прибывших, что прежние пастбища вскоре вернутся под власть Кара-Юсуфа и приумножатся землями самого Тимура или тех, кто потворствует ему, кто перекинулся под его опеку.

На правителя Сиваса, несговорчивого Бурхан-аддина, напал хан Белых баранов Кара-Осман. Кара-Осман всегда побеждал там, где воинская честь и совесть были бы слабостью. Долго толклось его войско под стенами Сиваса, пока Бурхан-аддин не поддался на обман. Выманив правителя из стен города, Кара-Осман убил его. Но город успел запереть ворота, и ни посулы, ни угрозы Кара-Османа не сломили твердость жителей. Войско и все кочевье Кара-Османа обложили город со всех сторон. Жители, единодушные в страхе перед Белыми баранами, заспорили о том, кому передать город – сыну ли покойного Бурхан-аддина, могущественному ли султану Баязету?

Кара-Осман то свирепел, томясь осадой, то размышлял, не решаясь на приступ, когда неожиданно на него навалился правитель Южного Азербайджана Мутаххартен, дотоле точивший сабли на своего соседа Ширван-шаха Ибрагима. Ибрагим, сумевший сохранить милость Тимура, стал недоступен саблям Мутаххартена, и он ударил ими по разленившемуся в осаде воинству Кара-Османа.

Но задохнуться ли под копытами Кара-Османовых всадников, расстаться ли с головой под саблями Мутаххартена жителям Сиваса было равно противно, их споры кончились, и город послал гонцов к султану Баязету, зовя его взять Сивас под свой щит.

Султан Баязет, готовившийся брать приступом Константинополь, отвлекся от заветной цели и пошел на призыв Сиваса.

Кара-Осман, уходивший от Мутаххартена, натолкнулся на передовые разъезды Баязета, попытался было противостоять, но, потерпев поражение, тоже бежал. Недавние враги объединили свои усилия в поисках милостей Тимура, ревниво спеша каждый себе выслужить честь и помощь против дерзостного османского султана.

Если б ветер времени пощадил одну лишь эту страницу из истории Сиваса, годы показались бы вихрем или базарной каруселью, где мелькали в пестром круговороте то черные, то белые шапки, то красные чалмы османов, то высокие азербайджанские колпаки, то подбритые усы, то алые, не просохшие от хны широкие бороды, то круглые остервенелые черные взоры, то сощуренные скважины степных глаз. Все это вертелось, сверкало, звенело саблями, грозило или льстило славному древнему крепкому городу Сивасу. И все рассеялось, осело, как пыль на заре, когда в Сивас вступил султан Баязет, стяжавший славу сокрушительными победами на берегах Дуная и Днестра, в странах Балкан и на холмах Малой Азии.

Баязет вошел в Сивас.

Город принял его как своего повелителя отныне и навеки.

Баязет установил здесь новые налоги, нуждаясь в деньгах для замышляемых больших походов, и утвердил османский порядок, показавшийся купцам мудрым, ибо способствовал торговым выгодам, вельможам – обидным, ибо на их места усаживались османские вельможи,

а ремесленным людям и городской голытьбе не было разницы в том, чей барабан поднимает их на работу и в чьи мешки складывают их изделия.

Погостив и поразвлекшись на коврах Сиваса, Баязет ушел в свою Бурсу. Здесь осталась османская стража. Отныне владения Баязета раскинулись еще шире, столь широко, что, по словам царедворцев, караван мог лишь за четыре месяца пройти их из конца в конец. Правда, караванщики не считали эту дорогу столь долгой.

Ныне воины Баязета стерегли стены Сиваса. Ныне мытари Баязета собирали мыты и подати с жителей Сиваса. А ханы, сбежавши одни к Тимуру, другие к Баязету, начали в сих прибежищах каждый свою суету и происки, разжигая вражду между теми двумя прибежищами, печась о возврате своих утраченных уделов, а буде случится утрату возратить, чтобы возвратилась она с лихвой. Издалека утраченное казалось премного краше, потеря – премного горше, возвращение – премного легче, чем было при бегстве из своих уделов, а приумножение того, чем прежде владели, отсюда, издали, казалось справедливой добавкой за пережитые страхи и обиды. И чем дольше тянулось время, тем крепче гнев и досада овладевали разумом, и тем безграничнее разрастались мечты, и тем сбыточнее они казались беглецам, помнившим красоту покинутых дорог, но позабывшим крутые перевалы на этих дорогах. Ныне беглым ханам было далеко до Сиваса, где над могучей толщей крепостных стен несли караул окованные броней рослые воины султана Баязета Молниеносного, а слухи о неодолимом нашествии из татарских степей волновали жителей не более, чем детей тревожат вечерние сказки о злых волшебниках: когда крыша над головой крепка, постель тепла, дверь задвинута тяжелым засовом, а старая бабушка рядом, от таких рассказней только слаще дремлет и крепче спится.

Тем более раздражали слова Мулло Камара, от которых веяло уже не вечерней сказкой, а пробуждением среди ночи. Самое бегство купца от каравана, настигаемого татарами, тревожные предостережения выдавшего вида человека – это уже не бабушкино бормотанье, это дальнейшее ворчание грома надвигающейся грозы. Такой грозы, от которой не прикроешься ни плотной крышей, ни жаркой молитвой.

– Ничто, как воля Аллаха! – покачал бородой длиннолицый старец.

Лежа на полу возле древней красавицы, из-под струй воды, щедро проливаемой банщиком, какой-то костлявый и хилый человек, захлебываясь и отплеываясь, согласился:

– Султан могуч. Не допустит. Кочевники не перекроют нашу дорогу. Нашим караванам дорога нужна везде. Я вам говорю: нужна! Объявится покупатель в Бухаре – караван в Бухару!..

Он перевернулся на другой бок.

– Подешевеет товар у франков – пойдем за ним в Геную. Рум перегорит дорогу – перешагнем. Дорогу охраняет наш султан. Мытарь тогда легко мыт собирает, когда купец деньгами играет. Султан могуч!

Длиннобородый Бахрам-ходжа, не одобряя столь слепой веры в могущество султана, строго, учительно повторил:

– Аллах милостив, милосерден, в его воле уберечь путника в пути, караван от разграбления, сокровище от разбойника, город от нашествия, милостив, милосерден, на него уповайте, его просите, не поддавайтесь соблазнительным речам, туманящим разум, гнетущим душу.

Мулло Камар, придвинувшись к старцу, набожно сложил коротенькие руки на пухленьком животе:

– Истинно! Истинно! Никто, как Аллах, не спасет от амира Тимура! Никто не спасет. На Аллаха уповайте! Великая сила надвигается на вас. И нет ей преград. Нет ей преград! Ни стены городов, ни полчища врагов, ни длина дорог, ни высота гор – ничто не остановит его. Не остановит! Ибо он есть Меч Аллаха!

Армянин, соскабливая прилипший к волосатой груди обмылок, размышлял:

– Ох, пропадет, купец, ваш караван за перевалом. Вот вы добежали сюда. А караван?.. Не будь этого Тимура, каравану что сделалось бы? Что? Ох, не вы первый, прежде тоже рас-

сказывали нам: нет преград нашествию. – Но, взглянув в темные насмешливые глаза турка, второпях поправился: – Нет преград... Пока не напорется на копьё Баязета. Разве могущество какого-то Тимура устоит перед могуществом Баязета? Всему свету известно: никто, никогда, нигде не устоял против нашего щедрого, великодушного, набожного султана! Для каравана – это беда. Каравану – это судьба, а для воинства султана весь тот Тимур – это лишь брусок, чтобы поточить ятаган.

– Брусок? – вскинулся Мулло Камар. – Сохрани Аллах любой ятаган от такого бруска! Я нагладелся на этот брусок. Нет меры его силам. Он ударит по камню, и камень встает воином. Ударит по скале, и скала рассыпается на мелкие осколки, и каждый осколок встает всадником в броне, с мечом, с копьём. Я своими глазами видел. Прежде не верил, а гляжу: кони у них небольшие, серые, как камень, карие, как кремь. Пустили в них стрелы – стрела отлетает от них, как солома. Оттого, что они из камня. Их пробить невозможно, как невозможно пробить стрелой камень. Когда враги догадались, какие это воины, бросились бежать. А они кидают аркан и могут птицу на лету заарканить. Кто сумеет уйти?! У меня они заарканили всех караванных в караване. Мне со слугой удалось уйти. Я добежал до гор. По горам – на перевал. А где караван? А где наш караул? А где мой товар? Вот он я, еле жив. Лежу тут, отогреваюсь. Нет силы, чтобы сломить эту силу. А вы – «султан»! Что сделает стрела султана, пущенная в скалу?

– Э! О султанах говорят тихо! – прикрикнул турок.

– Вы сами видели? – спросил богобоязненный Бахрам-ходжа.

– Своими глазами. Еле ноги унес.

– О, сохрани нас Аллах милостивый, – поднялся со скамьи старец и, глядя только перед собой, неуверенными, оскользающимися шагами, так и не помывшись, заспешил к выходу одеваться, бормоча: – Милостивый, милостивый...

– Вот в том-то и дело, что нечего и думать устоять против Тимура. Верное дело – просить Аллаха о милости, а об обороне надо забыть, когда он сюда придет.

Маленький сухощавый человек, дотолле лежавший в теплой луже, привстал.

– А он сюда придет?

– Весна ли, зима ли приходит для всех городов сразу. Он идет в эту сторону. Было ли, чтобы по всему краю наступила весна, а в Сивасе сохранилась осень?

– Сивас – это город, хранимый самим Баязетом, великим султаном, могущественнейшим, непобедимым, молниеносным в битве, щедрым в мирные дни.

– Лучше уповать на Аллаха! – настаивал Мулло Камар. И хотя эти слова принижали славу Баязета, кто же мог возразить: прибывший купец славил Аллаха!

Потом Мулло Камар, удобно разлегшись на коврике, затребовал себе чашку чистой воды со льдом и расспрашивал собеседников, проникшихся доверием и расположением к нему, бежавшему от завоевателей:

– Верю в милосердие Аллаха, он убережет мой караван от разбойников. А получу товары, начну торговать... Ну, скажем, распродам. А что куплю? У кого что есть у вас в городе? Ведь я много чего куплю. При закупке не поспею. Но у кого что взять? У кого что есть? Я купец. Я хочу знать, с кем тут торговать.

Пока здесь беседовали, наруже, на улице, полил дождь. Как все весенние дожди в Сивасе, он был обилен и, едва затихнув, снова полил. Уходить при такой погоде из бани никому не хотелось, на расспросы Мулло Камара отвечали словоохотливо.

Как бы рассеянно и равнодушно, Мулло Камар выведал о многих складах товаров по всему городу. Собеседники говорили не только о своих запасах, но и о друзьях, и о соседях, полагая, что помогают торговым делам своих друзей и соседей.

Мулло Камар еще плохо знал город, но его память накрепко запечатлевала названия улиц, имена, товары...

Дождь шумел, и когда в баню проникал свежий, пахнувший не то снегом, не то первой листвою ветерок, здесь казалось еще уютней.

3

Дождю внимал и спутник Мулло Камара Шо-Исо, прислонившись узкой спиной к замуоленной стене в глубине харчевни Хасана, араба, славившегося умением жарить баранину на вертеле.

Наслоив на всю длину вертела тонкие, как листья, пласты баранины вперемежку с пластами сала, араб ставил стоймя железный вертел между двумя жаровнями и неторопливо поворачивал вертел, пока мясо не запекалось, истекая жиром. Горячий, темный, как мед, жир стекал вниз на глиняное блюдо.

Острым ножом состругивали запекшиеся, зажарившиеся края баранины и сала, заливали подливой с подноса, щедро приправив красным перцем и луком, и подавали проголодавшимся гостям, забредшим с базара.

Добрая еда, крепкие приправы тешили людей, а близость базара возбуждала их и развязывала языки. Все громко переговаривались, торопливо поедая мясо, делились новостями, перехватывая новые вести, чтобы поскорее пересказать их другим.

Посетители входили и уходили, расспрашивали человека, нового в городе, о краях, захваченных степняками, о самом их вожаке, о слухах, которые уже начинали тревожить жителей Сиваса.

– А далеко они? Чего тут им делать? Чего надо?

– Взял Арзинджан. Небось теперь ближе к Сивасу, чем прежде! – отвечал Шо-Исо.

– А ты сам-то его видел?

– Ежели бы я его видел, вы меня здесь не видели бы, Кто на него глянет, станет камнем. На кого он глянет, тот рассыплется песком. Никто не смеет ни на него глядеть, ни ему на глаза высунуться. Я его воинов издали видел и то еле жив.

Люди приходили и уходили. Шо-Исо не спешил уходить, но над городом уже поднимались недобрые слухи, расплываясь далеко вокруг, как запах гари, тревожа. Наплывали темные страхи, возрастая, как тени – чем ближе к огню, тем выше и шире. А Шо-Исо, словно невзначай, придумывал новые и новые рассказы, одна другой круче, сея в сердцах собеседников злые плевелы тревог, отчаяния, убеждая, что нет силы, какая осилила бы силу нашествия.

Повелитель вселенной, прежде чем пустить свои стрелы в грудь врага, пробивал его сердце слухами. Слухи порождали страх, сомнение сивасцев в своих силах, а сомнение в своих силах готовит победу противнику.

Слухи, которые шли из харчевни Хасана, перекрещивались со слухами, шедшими из старинной бани, где нежился Мулло Камар, а две вести, услышанные в двух разных концах города, становились истиной.

Так уже в первый день вступления в Сивас Мулло Камар взволновал город, одних усомнив в могуществе Баязета, а других убедив, что не на мощь городских стен, а лишь на милосердие Аллаха надо уповать, если сюда придет Тимур.

Мулло Камар, заговорившись, поглядывая по сторонам, не видя больше никаких достойных собеседников, побряхтывая, заботясь, как бы не поскользнуться на мыльном полу, осторожными шажками, слегка приплясывая, отправился в предбанник: давно прошло обеденное время, и, как поется в песне, «роза затужила без росы».

За снедью можно было послать кого-нибудь из служек, но сперва достав деньги из кисета, оставленного под одеждой, да и накинув одежду, ибо не честь почтенному человеку голышом садиться за трапезу.

В предбаннике хлопотал тощий банщик, тяжело дыша через открытый рот. Кроме него, никого здесь не было: одни ушли до дождя, другие переждали непогоду в глубине бани, новые посетители не приходили – никому не хотелось шлепать по мокрети под дождем.

Дождь же щедро шумел за порогом. Одежда лежала грудками по всей длинной скамье, а банщик тряс ее и складывал стопками, жалуясь, что из-за дождя пришлось с веревок наскоро снять белье сырым и теперь никак не разберешься, какое чье и откуда взято.

Груда сырого, холодного белья пахла не то гнилыми овощами, не то псиной – чем-то тяжелым и неприятным.

Мулло Камар уверенно пошел к своему узлу, но под халатом не нашел ни своей рубахи, ни штанов, хотя красный сафьяновый кисет, подвязанный к поясу, как был положен, так и лежал.

Усаживаясь влажным задом на теплый мрамор скамьи, Мулло Камар велел банщику:

– Ну-ка ищи-ка белые холщовые. Сверху под пояс обшиты красной каймой. А рубаха по круглому вороту обшита зеленой кромкой.

Банщик услужливо зашепшил, высоко подкидывая штаны, рубахи, пестрые лоскуты портянок.

Взлетев в проворных руках, как птичья стая, вся одежда снова раскинулась по скамье.

Мулло Камар нетерпеливо сам подошел к банщику. Порывшись в сыром ворохе, нашел свою рубаху. Штаны же, как он ни перебирал одну вещь за другой, не находились.

Банщик, хотя и с опаской, покорно еще раз переглядел всю одежду на обеих скамьях, даже ту, которую он и не стирал. Штанов не оказалось. Их не было.

Банщик пояснил:

– Кто-нибудь надел вместо своих. Тут сегодня многие торопились: говорят, нехорошие слухи пошли, да и от дождя спешили домой поспеть. Да и вам почему бы не взять другие? Не все ли равно, у всех они одинаковые. Шелковых у нас тут никто не носит.

Мулло Камар не мог ему объяснить, что во всем городе не было таких штанов, какие он согласился бы взять вместо своих, – в них была защита могущественнейшая пайцза Тимура, медная бляха, открывавшая путь сквозь любые воинские заставы и караулы, по всем дорогам Мавераннахра, по всем завоеванным землям, по всей вселенной!

Совсем недавно она плотно лежала у него на ладони, круглая, вычеканенная из червонной меди, с грозной надписью: «Амир Тимур Гураган указал: кто воспротивится помочь нашему посланцу, будет казнен и умрет».

А в середине, где, бывало, чеканили монгольское тавро, похожее на якорь, значились три кольца – тамга самого повелителя вселенной, амира Тимура Гурагана!

Чуть побольше медных караханидских дирхемов, подернутая радужной патиной, нагаром, расцветившим медь от пережога при ковке, похожая на прежний большой посеребренный почернелый караханидский дирхем.

И вот эта-то пайцза, открывавшая купцу все пути, все караван-сарай, все ворота городов, исчезла вместе со штанами.

Мулло Камар вздрогнул, вдруг поняв, что теперь он уже не тот человек, каким вошел под эти темные своды, уверенный в своем превосходстве над всеми, кого бы ни увидел здесь! Он беседовал, втайне насмехаясь над каждым из собеседников. Он один знал, во что превратятся они, когда город оглохнет от топота Тимуровой конницы, от рева воинства, врывающегося в город.

Но во что без пайцзы превратится он сам, когда ворвутся сюда те непреклонные конники?! Чем он остановит первого же воина, если тот замахнется мечом или копьем?! Всего несколько мгновений назад он ждал прихода Тимуровых войск как желанного праздника, теперь же немислимо стало даже думать о страшном дне, когда они ворвутся в Сивас. А они ворвутся!..

Не бежать ли отсюда вглубь Баязетова царства, притаиться где-нибудь в Смирне, где-то там? Или, пока Тимур стоит спокойным станом и караулы могут вникнуть в слова смиренного человека, обратно переползти через ледники на ту сторону. Но как явиться туда без пайцзы?

Куда она девалась? В чьих руках она сейчас? Знает ли тот, кто ее держит, что держит в своих руках дорогу, открытую и беспрепятственную, на все стороны света, через все войска и заставы самого повелителя?!

Или тот недоумок сидит и дивится помехе, появившейся в штанах, и досадует, и просто вырвет ее и бросит прочь. И некому его надоумить!..

И Мулло Камар тут вспомнил с досадой и со страхом пророческие слова длиннобородого старика:

«Ничто, как воля Аллаха!..»

4

В чужих тесных штанах, прилипших к ягодицам, поживаясь от их сырости, Мулло Камар одиноко спешил под густым дождем по пустой улице, суетливо, отступаясь в лужи и тем забавляя всех, кто посматривал на размокшую дорогу из-под навесов или из лавчонок.

Впервые за всю жизнь он так торопился и впервые не знал, куда идти.

Вдруг он остановился. Потоптался среди луж и так же торопливо или еще прытче прежнего заспешил назад: ведь кто-то ушел в его штанах. Надо скорее узнать, кто же ушел, а это могут вспомнить только в бане.

В предбаннике сидели, остывая и лениво одеваясь, люди, которых, уходя, Мулло Камар здесь не видел. Он видел их голыми и поэтому теперь не мог узнать: теперь их покрывала одежда, лица их утерты, бороды расчесаны.

Мулло Камар приметил на штанах одного из армян под поясом такую же красную обшивку, какая была на пропаже.

Он бы не замедлил ухватиться за них, но пощупать то место, куда он хитро зашил пайцзу, нельзя было: не то это место, чтоб соваться туда чужой рукой.

Он смог только хрипловато спросить:

– Откуда у вас штаны, почтеннейший?

Армянин, закрутив красными, не то распаренными, не то воспаленными яростными глазами, оторопел:

– Что? Что?

– Эти вот штаны...

– Не трогай! – отшатнулся армянин, поджимая ноги и отползая вдоль каменной скамьи.

Но Мулло Камар наступал:

– Откуда они?

– Не тронь! Это мои!

Одевавшийся рядом с армянином плотный степенный турок спокойно удивился:

– Зачем кричишь? Он тебя еще не тронул.

– А тронет, тогда поздно кричать.

– Я не трогаю. Я про штаны, почтеннейший. Только про штаны.

– Знаем! Сперва хватаются за штаны... Я не такой! Отстань!

Мулло Камар спохватился:

– А банщик где? Который с бельем?..

Турок медленно моргнул в сторону входа.

– Разделся и пошел мыться.

– А как мне его оттуда вызвать?

– Из нас никто туда не идет, мы уже оделись.

Мулло Камар заспешил раздеться, скидывая без всякого порядка одежду, а когда остался только в тесных чужих штанах, непристойно его облепивших, вернулся к армянину.

– Почтеннейший! Вы сами себя пощупайте.

Армянин, торопившийся уйти из предбанника, вскочил.

– Ты опять? Я людей позову...

– Вот они, люди. Зови! Но сперва пощупай вот тут: ничего там нет?

В ярости, кое-как обматываясь кушаком, армянин выскочил на улицу и, уже стоя на мостовой, прорычал:

– Ну! Подойди. Подойди!..

Тогда Мулло Камар, снова скользя по мыльным плитам, кинулся в непроглядный пар под черные своды.

Здесь по-прежнему многие лежали, не спеша выходить в сырой холод вечеряющего дня.

Светильники потрескивали. Красноватые отблески беспокройного пламени струились вокруг, как ручей по камушкам, дробясь и переливаясь. В таком свете лица людей, непрерывно изменяясь, то будто смеются, то скорбят, то ужасаются, как каменные маски, какие остались кое-где в Сивасе иных из мраморных плит. И как тут узнать среди обнаженных того, кого видел одетого, ставшего без одежды ничем не приметным.

Приметы банщика? Бороденка неприглядна, как у большей части людей. Ведь добрая борода, как и красота, как и ум, ниспосылается Аллахом не первому попавшемуся, а по неизъяснимому выбору, непостижимому для смертных, хотя не каждый избраннык ценит, не каждый сознает эту щедрость, излитую на него.

Глаза у банщика тоже не были примечательны – тусклы, малы. Но в этой мгле и не разглядишь ничьих глаз.

Знать бы имя, можно было бы кликнуть, да кому придет в голову спрашивать имя у банщика!

Мулло Камар суеился среди моющих. Приглядывался к каждому, то приседая на корточки, если человек лежал на полу, то рассматривая человека в упор, если тот стоял.

Многие пугливо отшатывались от столь упорного взгляда – они тут обнажались не затем, чтоб их разглядывали в этаким виде!

Другие, узнав Мулло Камара, пугались вдвойне, сразу вспомнив, как он страшил их страшными вестями, какие едкие слухи занес в этот добрый, теплый мир.

Уже насквозь промокли тесные штаны на Мулло Камаре, и это тоже привлекало взгляды людей, никто в штанах здесь не расхаживал. А банщика нет и нет нигде!

Уже кое-кто смекнул, что не к добру мечется тут этот беспокойный человек. Кое-кто поспешил уйти из бани. В предбаннике стало тесно. Шаря в грудах недосохшего белья, каждый выхватывал свое или то, что прежде остального подвернулось под руку. С верхней одеждой ошибок не могло быть, каждый видел свое, белье же у всех шилось на один покрой, как шилось дедам и прадедам.

Люди одевались и уходили, а Мулло Камар то заглядывал в темноту глубоких ниш, куда не полагалось заглядывать, то в тускло озаренный водоем, где, погруженные по грудь в теплую воду, сидели, беседуя или забавляясь, купальщики. Подбегал к струям, падавшим из львиных пастей, где окатывались из медных чаш, но ни в ком не мог усмотреть банщика. Нет и нет нигде...

Оставалось одно: сесть у выхода и ждать, пока сам банщик предстанет перед глазами.

Мулло Камар сел на корточки, упершись спиной в стену, и, не вникая в их смысл, забормотал откуда-то наверху стихи:

О, если та прекрасная турчанка
Моим захочет сердцем обладать,

Не поспеюсь...

И вдруг банщик предстал перед ним. Предстал столь внезапно, что Мулло Камар не успел даже обрадоваться, а только спохватился:

– Вот он, банщик!

– Я. А что?

– Да ничто... А вот что...

Мулло Камар узнал банщика сразу, хотя его лицо не являло ничего приметного и примечательного. Он только вспомнил его. Но приметно и особенно было в этом банщике не лицо, а тело, дотеле скрытое одеждой, а знай это тело прежде, Мулло Камар нашел бы его сразу, так худ был банщик, так сух, весь состоял из костей, перевитых странно длинными синими жилами. Это причудливое тело много раз повстречалось Мулло Камару среди пара и, отвлекая, помешало взглянуть в лицо банщику. Вот теперь он узнал бы его в любой мгле. Зачем-то он нетерпеливо спросил:

– А вот что... Как твое имя?

Банщик пугливо оглянулся, и Мулло Камару показалось, что он норовит нырнуть назад и скрыться в облаках пара.

Не успев подняться, Мулло Камар ухватил банщика за ногу, и тот, не ожидавший такой хватки, поскользнулся и тяжело с размаху упал навзничь, ударившись плечом о скамью.

Потерял ли он сознание, удивился ли, оробел ли, но он лежал и молчал, пока склонившийся над ним Мулло Камар что-то говорил, восклицал, спрашивал.

Наконец банщик наполнил всего себя долгим медленным вздохом, повернул лицо к стене и пробормотал:

– Штаны... Штаны? Какие?

– Там, где пропускать пояс, обшиты красной каймой.

– Возможно ль запомнить все штаны Сиваса?

Банщик лежал навзничь на плитах пола. Мулло Камар сидел над его головой на корточках.

Оба молчали, но разговор продолжался: один думал и припоминал, другой ждал ответа. Наконец, покряхтывая, банщик поднялся, растирая ушибленное плечо.

Мулло Камар настаивал:

– А кто ушел, пока я мылся, пока я не спрашивал у тебя свое белье? Вспомни-ка!

– Многие одевались и уходили. Бахрам-ходжа ушел. Наш почтенный старик, содержатель караван-сарая. Длиннобородый. Очень спешил. Выхватил из кучи белье, надел кое-как и побегал. Тоже наш турок, Савук-бей, золотая серьга в ухе, тоже ушел. Не спешил, но о чем-то так думал, что и не смотрел, какое белье берет, только б какое посуше. Долго одевался. И ушел. Он не здешний. Из Бурсы. Караванщик. Говорят, от самого султана ходит. Затем и серьга в ухе: примечай, мол, вместо пайцзы султанская серьга!

– Вот! – встрепенулся Мулло Камар. – А настоящей пайцзы ты тут не приметил?

– В баню с пайцзами кто ходит? Тут дорога, что ли, или караулы стоят?

– А еще кто вышел?

– Я пошел мыться, когда армянин одевался. Это наш, здешний, шерстью торгует. Имя Аршак. Он сел одеваться, а я оставил ему все белье: выбирай какое хочешь. А сам пошел мыться.

– А еще?..

– Остальных не приметил. Выходить выходили. А кто... Тоже венециец Николас-баш ушел. Горбун. На аиста похож – ноги длинные, как у журавля, а тело маленькое, с верблюжьей головой. Но умен. Глаза черные, как жуки. И все видит и помнит. Из Венеции. Издавна здесь живет, а родом венециец – Николас-баш. Караван-баш. Водит караваны то в Басру, то в Траб-

зон. Всегда к морю. Он хорошо рассказывает: города, дороги, народы, где что видел. Он сперва в самой темной нише моется – стыдится. А потом полотенцем накроется и выходит, а мы уже ждем. Он садится рассказывать, а мы слушать. Он кахву пьет. Хоть у нас и нельзя это, на кахву строгий запрет, да ему тайком носят туда, в нишу, где никто не видит.

– А кто это варит, если нельзя?

– Того, добрый человек, я не заметил. Кто-то носит, а кто, не заметил.

– Таишь!

– Мало ли тут людей ходит! Мое дело – грязное белье брать, стирание выдавать.

– Вот и отдай мне мое! – снова зашепел Мулло Камар. – Мне дай мое, а не это – к заду прилипло, шагу не шагнешь.

– Ты уже спрашивал, я уже отвечал.

– Найди, брат, мои штаны!

– Ты сам видел, какие были, я отдал. А те я откуда возьму, когда их тут нет?

Мулло Камар вздохнул с отчаянием и с укором:

– О Аллах!..

– Возьми со скамьи другие. Из того, что осталось. А эти сыми, я сполосну да высушу. Сымай, сымай, никто на тебя не смотрит.

Переоблачаясь, Мулло Камар каялся: «Нашел же я место пайцзу хранить. От разбойников так надежнее всего – халат сорвут, сапоги стянут, а штаны редко берут, когда они простые, а не шелковые. Но и так тоже нельзя было – кинул се тут! Но когда рядом и кисет с серебром, куда было ее деть? Кроме некуда, как так оставить. Вот и оставил!»

Надев сухое, Мулло Камар сел. Не успокоился, но понял: еще есть время и на поиски, и на раздумье. Поиски! Ведь сейчас она где-то здесь. Если уже не в бане, все еще в городе.

Он сжал ладонь, вспоминая: совсем недавно он ее ощупывал, чувствуя под пальцем даже сквозь холстину и надпись, и зазубрину на краю. Всю ее так ясно увидел, как если б она лежала тут вот, на полу, с зазубринкой, с трещинкой. Так она вся помнится!

Да и не она ли это у самой каменной скамьи...

Он торопливо пригнулся, потянулся к темному кругляшу, но тотчас, безглаголиво вздрогнув, отшатнулся.

– О Аллах! И в бане-то плюют!..

Пайцза где-то еще в Сивасе... У кого?

И тут ожгло его испугом.

Ведь кто-то в Сивасе найдет и поймет пайцзу. А поняв, задумается: что это за купец, плакался, будто ограблен, а на деле огражден от ограбления таким грозным щитом, выданным от главного завоевателя! Пожалуй, за такую ложь в этом Сивасе, по их базарному обычаю, обманщика повесят посреди базара рядом с коромыслом больших базарных весов.

Нет, теперь нельзя здесь показываться. Ведь недавние собеседники могут, распознав про пайцзу, тут, еще в предбаннике, навалиться, схватить, скрутить и поволочь прямой дорогой к виселице...

Но нельзя и к повелителю без пайцзы явиться. Можно ль ему сказать про то, как неведомый человек где-то балует с его пайцзой и, может, в самом стане у повелителя с ней гуляет.

Одно остается – бежать отсюда подальше. Поскорей. А там, куда добежишь, притаиться, приглядеться, прижиться, где его лжи никто не слыхал, где в лицо его не знают...

Мулло Камар опять приступил к банщику:

– Где они, эти, которые ушли?

– Я их знаю, когда они к нам приходят, а куда от нас уходят, не знаю. Поищите по городу, кто-нибудь знает их.

– По городу!..

– По базару, они все с базара.

– С базара! В Сивасе везде базар.

– Когда что-нибудь ищешь, добрый человек, ищешь везде.

Мулло Камар не ответил. Но вдруг вспомнил, как совсем еще недавно втайне потешался над бедствиями и горестями армянина Пушка, а ныне сам становится в глазах людей потехой.

«Не злобствуй, не злорадствуй, когда видишь ближнего своего в беде, своя беда всегда наготове рядом. Помни это, ибо Аллах всевидящий милостив, справедлив и он знает, кому дать, а с кого взять. Но зачем же, зачем же я бросил это тут на скамейке!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.